

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Джулиан Барнс

ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ

ИСТОРИЯ МИРА
В 10½ ГЛАВАХ

АНГЛИЯ, АНГЛИЯ

« А З Б У К А »



18+

Иностранная литература. Большие книги

Джулиан Барнс

**Глядя на солнце. История мира
в 10 1/2 главах. Англия, Англия**

«Азбука»

1986, 1989, 1998

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Барнс Д. П.

Глядя на солнце. История мира в 10 1/2 главах. Англия, Англия
/ Д. П. Барнс — «Азбука», 1986, 1989, 1998 — (Иностранная
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-33939-2

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – современный английский классик, «самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм» (The Scotsman) – в январе 2026 года отметил 80-летие выходом своей новой (и, возможно, последней) книги «Исход(ы)». Данный том объединяет три классических романа «лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов» (The Independent), и один из них – в новом переводе. Вашему вниманию предлагаются: «Глядя на солнце» – «поразительное литературное откровение» (Карлос Фуэнтес) и «гимн человеческому воображению» (Chicago Sun-Times); «История мира в 10 1/2 главах» – «блестящий, уморительный, глубокий роман, не признающий авторитетов, – и просто восхитительное чтение» (Салман Рушди); и «Англия, Англия» – «блестящая фантазия, достойная пера самого Свифта» (Economist). Здесь Барнс говорит голосом насекомого, «зайцем» проникшего на Ноев ковчег, и астронавта, отправляющегося искать этот ковчег на гору Арарат; здесь на острове Уайт собирается все, что олицетворяет в глазах мира добрую старую Англию; здесь над Ла-Маншем пилот «харрикейна» дважды наблюдает восход солнца.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-33939-2

© Барнс Д. П., 1986, 1989, 1998

© Азбука, 1986, 1989, 1998

Содержание

Глядя на Солнце[1]	13
1	14
2	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Джулиан Барнс

Глядя на солнце. История мира в 10 1/2 главах. Англия, Англия

Julian Barnes

STARING AT THE SUN

Copyright © 1986 by Julian Barnes

A HISTORY OF THE WORLD IN 10 1/2 CHAPTERS

Copyright © 1989 by Julian Barnes

ENGLAND, ENGLAND

Copyright © 1998 by Julian Barnes

All rights reserved

© В. О. Бабков, перевод, 1994

© Е. С. Петрова, перевод, 2026

© С. В. Силакова, перевод, примечания, 2001

© З. А. Смоленская, примечания, 2026

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

О РОМАНЕ «ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ»

Блестяще... поразительное литературное откровение. Мистер Барнс – в авангарде новой волны британской прозы, что захлестнула мир.

Карлос Фуэнтес (The New York Times Book Review)

Барнс владеет редким инструментарием, который позволяет ему с юмором и элегантностью раскрыть любую тему.

Financial Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков. Ему присущи удивительная многогранность, блестящее остроумие – и превосходное чувство иронии, которое скрепляет его неординарные творения воедино.

New Republic

Джулиан Барнс – один из небольшой плеяды британских романистов-новаторов, которым удалось вытащить английский роман из провинциальной колеи, где тот было застрял.

Newsday

Книги Барнса – это гимн человеческому воображению, сердцу, неистовому разнообразию нашего генофонда, наших деяний, наших наваждений. Они щекочат нам ум и чувства, и Барнс добивается, без трюков и каламбуров, того, что так ценил Набоков, – эстетического наслаждения.

Chicago Sun-Times

Барнс не только виртуозно развлекает читателя, но и обращается к нему с серьезными моральными вопросами; самые мрачные стороны предательства и боли он демонстрирует с тем же блеском, что и фарс сложных любовных перипетий, и столкновение характеров.

The New Yorker

Мало кого так приятно читать в наши дни, как Джулиана Барнса.

Chicago Tribune

Джулиан Барнс показывает нам, чего может добиться независимый сильный писательский голос, решительно отбрасывая костыли современной прозы.

Philadelphia Inquirer

О РОМАНЕ «ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ»

Игриво, остроумно и крайне занимательно.

Джойс Кэрл Оутс (The New York Times Book Review)

Блестящий, уморительный, глубокий роман, не признающий авторитетов, – и просто восхитительное чтение.

Салман Рушди (Observer)

Этот ироничный роман смешит вас и удивляет, поражает эрудицией и не боится прыгнуть за борт, в пучину горя и утраты. Книга года однозначно.

Надин Гордимер (лауреат Нобелевской премии по литературе)

Шуток и пиццы для ума и сердца здесь больше, чем дал бы целый месяц, наполненный только воскресным чтением. Барнс пленяет вас и дарит вам свободу, но главное – очаровывает.

Financial Times

Барнс поистине ослепляет.

Los Angeles Times

С этой книгой читатель должен держать ухо востро.

The New York Review of Books

Если вам хочется перечитывать «Историю мира в 10 1/2 главах» опять и опять, что ж тут такого? Барнс опередил собратьев-литераторов на световые годы.

Literary Review

Поразительно... не роман, а чистейшей воды бриллиант.

Chicago Sun-Times

Совершенно уникальный роман, поистине лишенный аналогов... чистая, незамутненная радость для читателя, который истосковался по новому.

Guardian

Каждая глава здесь еще и упражнение в стиле. Барнс словно бросает вызов литературе; он, кажется, поставил себе цель – создать книгу,

использовав все возможные стили и приемы письма, и его метод в данном случае отлично работает на главную идею – заставить нас, читателей, взглянуть на историю иначе, под неожиданным углом, не как на строгую, облаченную в кожаный переплет энциклопедию, где все события разбиты на параграфы и пронумерованы, но как на хаотичный набор слухов и домыслов, рассказанных случайными свидетелями (как тут не вспомнить поговорку «врет как очевидец»?).

Gorky.media

О романе «Англия, Англия»

Восхитительно... разит наповал... Барнс пленных не берет.

Independent

Барнс не только самый умный игрок на нашей литературной сцене, но, как показывает «Англия, Англия», еще и самый трогательный.

Sunday Times

Блестящая фантазия, достойная пера самого Свифта.

Economist

Здесь не только искрометная сатира, но и убийственно точный анализ нашей зависимости от иллюзий.

Wall Street Journal

Острейший, самый пряный роман о том, как измельчала Англия.

The Times

Редкие авторы мыслят и выражаются настолько пленительно.

Independent on Sunday

Сатира в своем лучшем проявлении.

The New York Times Book Review

Исполненное лукавosti социально-философское размышление.

Chicago Tribune

Мастер интеллектуального юмора, наделенный редкой культурной наблюдательностью.

Newsday

Джулиан Барнс написал первую классическую антиутопию XXI века. С блестящим остроумием он препарирует одержимость современного мира имитациями.

The Christian Science Monitor

Сюжет развивается с точностью хорошо отлаженного механизма, и постепенно понимаешь, что за всеми интригами, самокопанием и элегантной сатирой кроется нечто большее, чем возмущенная ирония: «Англия, Англия» выражает, пусть и не без оговорок, веру в то, что подлинно.

Milwaukee Journal Sentinel

Обхохочешься.

Los Angeles Times

После десятков корявых, слюнявых, невнятных и убитых переводом романов редко попадаете мне книжка, о которой я грезил, бывало, по полгода – Блистательный Английский Роман. Вот он – остроумный, легкий, трогательный, изумительно сложенный и мало того что английский, так еще и про саму суть английскости (впрочем, все Блистательные Английские Романы – про это). «Англия, Англия» – настольная книга англофила, энциклопедия мифов об Англии, ревизия английскости, убийственно остроумная и феноменально точная... «Англия, Англия» – это еще и маневр вдоль берегов англоязычной литературы, в ходе которого из всех орудий обстреливаются не только Шекспир, «Озерная школа» и прочие теннисоны, но и Джойс, например. Да-да, «Англия, Англия» – еще и английский «Улисс», причем гораздо остроумнее ирландского. Все осталось по-прежнему со времен Стерна – тотальное доминирование в мировой литературе. Правь, Британия, морями.
Лев Данилкин (Афиша)

Я очень рад, что роман «Англия, Англия» стал актуальным в 2016 году. Я написал его в 1998-м как предостережение или подарок с ядом для моей страны к миллениуму. Посмотрите, во что вы превращаетесь! Это относилось не только к Англии, конечно. Если вы прогуляетесь по улице в центре любой европейской столицы, вы увидите одни и те же магазины, очень сходные житейские привычки. Европа гомогенизируется, становится однородной. Конечно, если это цена за то, чтобы не было больших войн – а их не было с 1945 года, – то ее стоит заплатить. Но есть ощущение, что в ответ на гомогенизацию старые европейские страны создают разные тотемы национальности и оригинальности, как бы показывая, что нет никакой гомогенизации. Смотрите, у нас есть крикет, Биг-Бен и «Битлз»! Все остальное – не имеет значения, самообман!

Джулиан Барнс

О ДЖУЛИАНЕ БАРНСЕ

Обожаю Стивена Кинга. Он пугает меня до усрачки. А еще я очень люблю Джулиана Барнса – и это совсем, совсем другое дело.

Дэвид Боуи

Барнс всегда умен, часто оригинален и неповторимо ироничен.

Уилл Селф (The Times)

Джулиан Барнс всегда больше напоминал французского философа, чем британского писателя.

Catholic Herald

Как это часто происходит с изящной (во всех смыслах) прозой Барнса, читатель постепенно вынужден усомниться в своих первых впечатлениях, в

очевидных выводах, да и в самих событиях, как будто составляющих базовую сюжетную канву.

Financial Times

Каждой своей новой книгой Барнс будто меняет правила игры.

Oldie

Сердцем романов Барнса часто служат воспоминания о прошедших событиях, о давних отношениях – и никто другой не умеет так тонко передать всю хрупкость нашей памяти, даже когда речь идет о самых важных событиях нашей жизни и самых близких людях.

NewsChain

Джулиан Барнс всегда любил размывать границу между прозой художественной и документальной, писать романы, похожие на литературоведческие или исторические работы.

The Guardian

Чего у Барнса не отнимешь, так это способности удивлять.

Sunday Times

В его творчестве остроумие и интеллект сплетаются так, что этому невозможно сопротивляться.

New Statesman

Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.

The Independent

Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.

The Gazette

Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.

London Review of Books

Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.

The Miami Herald

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

Вопросы соотнесения слов и реальности, разрыв между ощущением и описанием – вот философская проблематика, интересующая Барнса-романиста. В этом смысле он близок к Айрис Мёрдок, с которой его роднит безусловно английское чувство абсурдного.

Times Literary Supplement

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Барнсу свойственна легкая и увлекательная манера письма, способная скрасить хоть длинный перелет, хоть бессонную ночь, а также незатейливая, но щекочущая нервы ироничность.

Коммерсантъ-Weekend

Легкомысленный и глубокий одновременно, предлагающий за разумную сумму приобрести коллекцию точных высказываний о жизни, Барнс прижился в России даже больше, чем на родине; он – идеальный писатель-иностранец, живое доказательство того, что, выполняя важную этическую миссию – говорить правду, писатель не обязательно должен отказываться от психологически и материально комфортной частной жизни и писать толстые, навязчивые, претенциозные, с космическими амбициями романы, в которых нет ни одной шутки.

Лев Данилкин (Афиша)

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы буковарского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно... В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

Ярлыки на литературу навешивают критики, а не писатели. На мне было много таких «лейблов» за многие годы. Один американский критик назвал меня «предпостмодернистом» – до сих пор пытаюсь понять, что это значит. В любом случае мы, кажется, уже не вписываемся в эти ярлыки. Модернисты творили сто лет назад, постмодернисты (скажем, поколение Борхеса) уже давно мертвы. Кто мы сейчас, постпостмодернисты? Надеюсь, что нет. Мои романы, как вы правильно заметили, всегда отличаются друг от друга: одни формально новаторские, другие более традиционные. Я верен не абстрактному

литературному течению, а конкретной книге, которую пишу. Давайте назовем это Пост-Лейблевой литературой.

Джулиан Барнс

Глядя на Солнце¹

*Памяти Франсес Линдли
1911–1987*

Случилось вот что. Безветренной непроглядной ночью в июне 1941-го пилот-сержант Томас Проссер занимался свободной охотой над севером Франции. Его истребитель «Харрикейн II-B» был выкрашен в черный камуфляж. В кабине красный свет от приборной панели мягко падал на лицо и руки Проссера; тот весь алел – этаким мстителем. Летел он со сдвинутым назад фонарем кабины, высматривая на земле аэродромные огни, а в небе – горячее свечение выхлопа бомбардировщика. В течение предраассветного получаса можно было ожидать появления «хейнкеля» или «дорнье», возвращающегося на домашний аэродром от какого-нибудь английского города. К этому времени бомбардировщик должен был бы обойти стороной зенитные батареи, избежать прожекторных лучей, увернуться от аэростатов заграждения, а также от ночных истребителей и выровняться, а экипаж мог уже помечтать о горячем кофе с терпким цикорием, со скрежетом выпустить шасси – и получить по заслугам от свободного охотника.

Той ночью охота прошла впустую. В 03:46 Проссер взял курс на базу. Французское побережье он пересек на высоте восемнадцати тысяч футов. Возможно, от разочарования он более обычного припозднился с возвращением, а все потому, что, взглянув на восток вдоль Ла-Манша, увидел, как начинается восход солнца. Пока воздух был еще пуст и безмятежен, оранжевое солнце спокойно и методично извлекало себя из вязкой желтой полосы горизонта. Проссер следил за его неспешным появлением. Подчиняясь выработанному практикой инстинкту, он каждые три секунды резко вертел головой, но, оказавшись поблизости немецкий истребитель, Проссер вряд ли смог бы его засечь. Вниманием его полностью завладело встающее из моря солнце: самодовольное, неумолимое, почти комичное.

Когда, наконец, этот оранжевый шар чинно уселся на гряде отдаленных волн, Проссер отвел взгляд. К нему вернулась бдительность: в ясном утреннем воздухе его черный самолет сделался уязвимым, как северный пушной зверь, которого в шкуре ненадлежащего окраса застучала смена времен года. Выполняя вираж и поворот, вираж и поворот, Проссер мельком увидел под брюхом самолета длинную дорожку черного дыма. По всей вероятности, там терпело бедствие одинокое судно. Он тут же начал снижаться к поблескивающим миниатюрным волнам и наконец разглядел идущий курсом на запад крутобокий сухогруз. Но черный дым развеялся и, судя по всему, ничего страшного не произошло; вероятно, кочегары всего лишь взбодрили огонь в топке.

На высоте восьми тысяч футов Проссер выровнял машину и лег на новый курс к базе. Как и экипажи немецких бомбардировщиков, на полпути через Ла-Манш он позволил себе помечтать о чашке горячего кофе и сэндвиче с беконом, которые причитались ему после опроса. Но тут случилось нечто. Скорость его снижения загнала солнце обратно за горизонт, и, посмотрев на восток, Проссер увидел, как оно восходит заново: то же самое солнце вставало на том же самом месте за тем же самым морем. И, вновь махнув рукой на бдительность, он засмотрелся: оранжевый шар, желтая полоса, кромка горизонта, безмятежный воздух и плавное, невесомое возвышение солнца, повторно встающего из волн за одно утро. Это было незабываемое обыкновенное чудо.

¹ Перевод Е. Петровой.

1

Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не известно.

А. П. Чехов. Письмо Ольге Книппер от 20 апреля 1904 г.

Многие считали, что взгляд на девяносто лет в прошлое требует изрядного усилия. Туннельного зрения, предполагали они; будто через соломинку. Но дело обстояло иначе. Иногда прошлое снимали ручным аэрофотоаппаратом; иногда оно чудовищно вздымалось в своде авансцены с лепными гирляндами и обвисшими кулисами, а иногда текло легко, словно любовная история эпохи немого кино: трогательная, размытая и совершенно неправдоподобная. Но бывало и так, что из памяти удавалось извлечь только последовательность неподвижных кадров.

История с дядюшкой Лесли, самая первая в ее жизни История, разворачивалась в виде серии диапозитивов проекционного фонаря. Тонированная нравственность; обаятельный уса-тый злодей. Исполнилось ей семь лет; наступило Рождество; Лесли был ее любимым дядей. На диапозитиве № 1 показано, как он наклоняется с высоты своего великанского роста для вручения подарка. Гиацинты, шепнул он, передавая ей горшочек телесного цвета, увенчанный колпаком из грубой оберточной бумаги. Поставь их в сушильный шкаф и дождись весны. Но ей-то не терпелось их увидеть прямо сейчас. Ну, вряд ли они уже проросли. Откуда ему было знать? Позже Лесли тайком отвернул уголок грубой обертки и позволил ей заглянуть внутрь. Вот неожиданность! Они уже проклюнулись. Четыре острых желто-бурых ростка величиной с ноготок. Дядюшка Лесли нехотя усмехнулся, как поступают взрослые под впечатлением от ребенка, который неожиданно превосходит их знаниями. В таком случае, объяснил он, тем более не надо повторно тревожить их до весны; от избытка света они, чего доброго, слишком быстро пойдут в рост и захируют.

Убрав гиацинты в сушильный шкаф, Джин стала ждать развития событий. Мыслями она часто возвращалась к этим росткам, сгорая от желания узнать, как выглядит цветок гиацинта. Далее – слайд № 2. В конце января она взяла фонарик и пришла в ванную комнату, там выключила свет, достала сверху горшок, открутила заглушку крошечного смотрового отверстия, направила туда фонарик и поспешила заглянуть внутрь. Четыре обнадеживающих ростка были на месте, однако по-прежнему оставались высотой с ноготок. Ну, по крайней мере, свет, который она впустила на Рождество, не причинил им вреда.

Ближе к концу февраля она подглядела еще раз; судя по всему, период роста еще не начался. Через три недели по пути в гольф-клуб к ним заехал дядюшка Лесли. За обедом он заговорщически повернулся к ней и спросил:

– Ну как, малютка Джини, окрасились ли гиацинты рождественским гиацинтовым цветом?

– Ты же мне запретил смотреть.

– И то верно. И то верно.

Она вновь подглядела в конце марта, затем (диапозитивы с № 5 по № 10) второго, пятого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого апреля. Двенадцатого числа ее мама согласилась на более тщательный осмотр горшка. Они разложили на кухонном столе вчерашний номер «Дейли экспресс» и аккуратно сняли оберточную бумагу. Четыре желто-бурых ростка несколько не вытянулись. Миссис Сарджент как-то смутилась:

– Думаю, лучше нам их выбросить, Джин.

Взрослые вечно все выбрасывали. В этом определенно заключалось их существенное отличие. Дети предпочитали все хранить.

– Может, они хотя бы корешки пустили. – И Джин принялась раскапывать плотно утрамбованную торфянистую почву вокруг ростков.

– Я бы не стала этого делать, – сказала мама.

Но было поздно. Одну за другой Джин выкопала четыре перевернутые острием вверх «тишки» – деревянные подставки под мячи для гольфа.

Как ни странно, ее вера в дядю от этой Истории не пошатнулась. Пошатнулась только ее вера в гиацинты.

Оглядываясь в прошлое, Джин допускала, что в детстве у нее, по всей видимости, была компания; но она не могла вспомнить ни особо доверенную подругу с кривой усмешкой, ни игру на детской площадке, требовавшую желудей и скакалки, ни секретные записочки, передаваемые по измазанным чернилами партам в деревенской школе с высеченной в камне грозной надписью над дверью. Наверное, все это у нее было; а может, и нет. Задним числом стало ясно, что детскую компанию целиком заменял ей дядюшка Лесли. У него были кудрявые, щедро набриолиненные волосы и темно-синий блейзер с нагрудным карманом, украшенным полковой нашивкой. Он умел сворачивать винные бокалы из серебряной фольги от плиток шоколада и, собираясь в гольф-клуб, каждый раз приговаривал: «заскочить в Старый Зеленый Рай». За такого, как дядя Лесли, она бы согласилась выйти замуж.

Вскоре после Истории с гиацинтами дядюшка начал брать ее с собой в «Старый Зеленый Рай». По приезде он обычно сажал ее на замшелую скамью возле автостоянки и с притворной строгостью наказывал охранять его клюшки.

– Схожу промыть за стариковскими ушами.

Минут через двадцать они дружно выдвигались к зоне „ти“: дядя Лесли, распространяя вокруг себя пивной дух, тащил клюшки, а Джин несла на плече – всегда наготове – лопатку для бункера. Это была выдуманная дядюшкой примета: чтобы в них не ударила молния и чтобы сам он не угодил в ловушку-бункер.

– Головку лопаты тащить по земле нельзя, – наставлял он, – не то песка полетит больше, чем ветренным днем в пустыне Гоби.

И она несла лопатку на плече правильно – как винтовку. Однажды, устав при подъеме вверх по склону к пятнадцатой лунке, она протащила лопатку по земле, сбив подставку для мяча, и второй удар дядюшки пришелся аккурат в бункер на расстоянии пятнадцати ярдов.

– Все из-за тебя, – сказал он, хотя с виду был не столько сердит, сколько доволен. – За это проставишься на девятнадцатой.

В разговорах с ней дядя Лесли частенько говорил загадками, но она делала вид, будто все понимает. Известно же, что на поле для гольфа только восемнадцать лунок, да еще и уметь надо... как там?.. «проставиться», но она кивала, словно это для нее привычное дело – проставляться на девятнадцатой. Когда она выросла, кто-то объяснил ей этот код; но до поры до времени она была вполне счастлива в своем неведении. Впрочем, кое-какие обрывки фраз уже различала. Если мяч своевольно улетал в рощу, Лесли иногда бормотал: «Пусть катится к гиацинтам» – единственное с его стороны упоминание о том рождественском подарке.

Но реплики его по большей части оказывались выше ее понимания. Как-то раз они вдвоем целеустремленно шагали по фервею: он – с полной сумкой клюшек, негромко постукивающих рукоятками из орехового дерева, она – с лопаткой для бункера в согнутых руках. Джин было запрещено разговаривать: дядя Лесли объяснил, что болтовня отвлекает его от мыслей о следующем ударе. Ему, со своей стороны, разговаривать не возбранялось; и пока они шагали к белеющей вдалеке штуковине, которая иногда оказывалась конфетной оберткой, он время от времени останавливался и склонялся над Джин, чтобы нашептать ей свои тайные думы. У пятой лунки он поведал, что помидоры вызывают рак и что солнце никогда не захо-

дит над Британской империей; у десятой лунки она узнала, что бомбардировщики – гаранты будущего, а старый Муссо, даром что макаронник, знает все ходы и выходы. Однажды, когда они помедлили на короткой двенадцатой (беспрецедентное действие на лунке пар-3), Лесли мрачно объяснил:

– К тому же нашему иудею гольф не по нутру.

Затем они продолжили путь к бункеру слева от грина, и Джин про себя повторяла эту неожиданно дарованную ей истину.

Ей нравилось ездить в Старый Зеленый Рай; там случались всякие происшествия. Однажды дядя Лесли, тщательнее обычного помыв у себя за ушами, прошелестел в глубокий раф рядом с четвертой лункой. Ей было приказано отвернуться, но она не могла не услышать продолжительный плеск, отличавшийся поразительной громкостью и множеством скрытых смыслов. Приподняв локоть (это не считалось подглядыванием), она заметила над высокими, до пояса, папоротниками столбик пара.

После этого был выполнен фокус Лесли. Между девятым гринем и десятой ти, в окружении молодых белых березок стояла деревянная будочка – ни дать ни взять скворечник для птиц-чудовищ. Здесь, если ветер дул в нужном направлении, дядюшка Лесли иногда показывал свой фокус. Из кармана твидового пиджака с кожаными вставками на локтях он доставал сигарету, клал ее себе на колено, совершал над ней пассы ладонями, как заправский фокусник, зажимал ее губами и чиркал спичкой, медленно подмигивая Джини. Сидя рядышком, она старалась не фыркать и не пыхтеть. Пыхтелки и фыркалки любой фокус портят, говаривал дядюшка Лесли, а ерзалки – тем более.

Через минуту-другую она отваживалась покоситься, стараясь не делать резких движений. На сигарете было с дюйм пепла, а дядюшка Лесли делал очередную затяжку. При следующем ее взгляде голова его уже была слегка запрокинута назад, а из пепла состояла добрая половина сигареты. С этого момента дядюшка Лесли на племянницу не смотрел, зато становился в высшей степени сосредоточенным и при каждой затяжке чуть-чуть отклонялся назад. Наконец голова у него оказывалась под прямым углом к позвоночнику, а сигарета теперь вся состояла из пепла, кроме последнего полудюйма, за который Лесли удерживал ее губами, возвращаясь в вертикальное положение относительно крыши гигантского скворечника. Это означало, что фокус удался.

Затем он протягивал левую руку и касался ее локтя; она беззвучно вставала, стараясь не дышать, чтобы невзначай не запыхтеть и не фыркнуть, тем самым сдув пепел на пиджак Лесли с кожаными вставками на рукавах, и шла дальше, к десятой ти. Через пару минут к ней присоединился, еле заметно улыбаясь, Лесли. Она никогда не спрашивала, как он выполняет свой фокус; наверное, думала, что ответа не получит.

Помимо этого, они еще горланили. Это всегда происходило в одном и том же месте – на лужайке, за треугольником влажных пахучих берез, которые пробивали себе путь к четырнадцатой лунке-доглег. Каждый раз, когда драйв дяди Лесли отклонялся от своей траектории сильным слайсом, им приходилось прочесывать наименее посещаемую часть рощи, где древесные стволы поросли мхом, а землю толстым слоем покрывали буковые орешки. В первый раз они остановились перед приступкой изгороди, которая, невзирая на многодневную сушь, оказалась склизкой. По приступке они перелезли через ограду и продолжили поиск на первых же ярдах сбегającego вниз луга. После бесцельного шарканья туфлями и разгребания листвы клюшкой Лесли нагнулся и сказал:

– Не погорланить ли нам от души?

В ответ она улыбнулась. Ясно же, что в таких случаях именно это и положено делать – горланить от души. Досадно ведь, когда не можешь отыскать мяч. Лесли продолжил:

– Как проорешься по самое не могу – падай. Таковы правила.

Потом они, закинув головы, стали орать на небо: у дяди Лесли ор получался низкий и хриплый, как у выезжающего из туннеля поезда; у Джин, не уверенной, надолго ли ее хватит, – тоненький и дрожащий. Орать полагалось с открытыми глазами (очевидно, таково было неозвученное правило), пристально вглядываясь в небеса, чтобы подбить их ответить на твой вызов. После требовалось сделать второй вдох и снова орать, уже более уверенно и настойчиво. Потом опять – и в паузах, предназначенных для очередного вдоха, усиливались и ревели издаваемые дядей Лесли паровозные шумы; а под конец внезапно накатывало изнеможение, вопля в тебе не оставалось, и бессилие валило тебя на землю. Не будь это предписано правилами, она бы все равно рухнула; усталость морским прибором утонула ее тело.

Когда дядя Лесли с глухим стуком шлепнулся в нескольких ярдах от нее, оба они впились параллельными зыбкими взглядами в безмятежное небо. На полпути к поднебесью еле заметно перемещались, будто против своей воли, немногочисленные мелкие облачка; но, возможно, даже это движение приписывали им две отдувающиеся фигуры, распластанные на земле. В правилах наверняка оговаривалось, что отдуваться можно сколь угодно тяжело.

Через некоторое время она услышала, как Лесли закашлялся.

– Что ж, – сказал он, – позволю-ка я себе фри-дроп.

И они двинулись обратно тем же путем: через осклизлую приступку по хрустящим буковым орешкам на угол четырнадцатой лунки, где дядя Лесли, оглядевшись, не шпионит ли кто, большим пальцем спокойно вдавил в фервей подставку для мяча, со щелчком опустил на нее сверху новенький сверкающий мяч и зафитилил его на грин клюшкой «брасси» – сотни на две ярдов. Притом, что обгорланился до упаду, подумала Джин.

Орать они ходили, только когда после удара Лесли по лежащему на «тишке» мячу тот слишком уж сильно отклонялся вправо, что, похоже, случалось лишь на безлюдном поле. Да и то не каждый раз, потому как после первого такого эпизода у Джин начался коклюш. В качестве настоящей Истории коклюш не засчитывался, но засчитывалось другое событие: дядюшка Лесли разжился деньгами. А точнее сказать, засчитывались последствия этого события.

Лесли забежал к ним на четвертый день ее болезни, когда она лежала в постели, время от времени издавая гортанный клекот какой-то экзотической птицы, затерявшейся в чужом небе. Присев на кровать в своем блейзере с полковой нашивкой, слегка попахивая, как после мытья за ушами, дядя зашептал – вместо того чтобы осведомиться о ее самочувствии:

– Ты ведь им не рассказывала, как мы горланим?

Еще чего.

– Видишь ли, это секрет. Преотличный секрет, как мне кажется.

Джин кивнула. Секрет был необыкновенно хорош. Но, по всей видимости, из-за этих воплей ее и настиг коклюш. Мама всегда наказывала ей беречься от перевозбуждения. Возможно, теми воплями она перевозбудила себе горло и в результате стала заходиться кашлем. Дядюшка Лесли сидел с подавленным видом, будто подозревая, что тут есть и его вина. Он даже слегка заерзал, когда у нее вырвался очередной клекот перепуганной птицы.

Через два дня миссис Сарджент с недовольным, но обреченным видом положила на край кровати Джин зимнее белье, затем платье из толстой ткани, зимнее пальто, шарф и плед.

– Собирайся. Дядя Лесли раскошелился.

Дядя Лесли, как обнаружила Джин, раскошелился даже на такси. В такси ей довелось прокатиться впервые в жизни. По пути на аэродром она всеми силами скрывала перевозбуждение. В Хендоне мама не стала выходить из машины. Держась за отцовскую руку, Джин выслушивала объяснения насчет деревянных деталей самолета «де хэвилленд», изготовленных из канадской ели. Древесина у канадской ели, рассказывал отец, очень твердая, почти как металл, поэтому беспокоиться не о чем. Она и не беспокоилась.

Шестидесятиминутная воздушная экскурсия: обзор достопримечательностей Лондона, вылет в начале каждого часа. Среди дюжины пассажиров было еще двое детей, упакованных –

наподобие свертков – в пледы, хотя стоял еще август; не иначе как их дядюшки тоже разжились деньгами. Папа сидел у прохода и остановил ее, когда она попыталась через него перегнуться и посмотреть, что происходит в салоне: цель полета, объяснил он, лечебная, а не познавательная. На протяжении всей экскурсии он, вцепившись в колени, сверлил взглядом спинку находившегося перед ним плетеного кресла. Казалось, он сам вот-вот перевозбудится. Когда «де хэвилленд» накренился, Джин увидела за его округлыми двигателями и пересечением стоек шасси некое подобие Тауэрского моста. Она повернулась к папе.

– Ш-ш-ш, – одернул он ее. – Я сосредоточен на твоём исцелении.

Только через год они с дядюшкой Лесли вновь отправились погорланить. Приехали, конечно же, в Старый Зеленый Рай; но каким-то чудом дядюшкины дальние удары от четырнадцатой лунки-доглег обрели невиданную точность. Когда наконец следующим летом он бабахнул головкой клюшки по морде мячика, выполнив небывало высокий завывающий слайс, создалось впечатление, будто мяч твердо знает, куда ему полагается лететь. Они тоже это знали: вдоль длинного рафа, через влажный березняк, над осклизлой приступкой – и к сбегавшей под гору лужайке. Огласив летнее тепло своими воплями, они бухнулись навзничь. Джин поймала себя на том, что всматривается в небо: нет ли там аэропланов. Она вращала зрачками, и обзор доходил до самого краешка ее поля зрения. Никаких облаков, никаких аэропланов: можно было подумать, они с дядюшкой Лесли своим шумом опустошили небо. Ничего, кроме синевы.

– Ну что ж, – сказал Лесли, – позволю-ка я себе фри-дроп.

Они не искали мяч, пока шли через рощу; не стали утруждаться и на обратном пути.

В их третьем походе с целью погорланить присутствовал самолет. Джин его даже не заметила, пока их вопли сотрясали поднебесье, но, когда, отдуваясь, они лежали навзничь, она уловила какое-то жужжание. Слишком ровное, чтобы исходить от насекомого; звучащее где-то рядом и одновременно вдалеке. Оно обнаружило себя – кратко и более шумно – между парой облаков, стихло и обозначилось вновь, а потом неспешно поплыло к горизонту, теряя высоту. Джин представила себе округлые двигатели, поскрипывающие стойки шасси и упакованных, как свертки, детей.

– Когда Линдберг летел через Атлантику, – заметил с расстояния в несколько футов Лесли, – он взял в дорогу пять бутербродов. Но съел только полтора.

– А остальные куда делись?

– Какие остальные?

– Остальные три с половиной.

Дядюшка Лесли поднялся с земли – вроде бы в дурном расположении духа. Ей, видимо, не позволялось подавать голос, хотя они и находились не на фервее. Наконец, когда они шаркали по буковым орешкам, теперь уже пытаюсь найти мяч, Лесли досадливо пробормотал:

– Они, надо думать, отправились в бутербродный музей.

Бутербродный музей, подивилась про себя Джин: разве такие бывают? Но ей хватило ума не задавать больше вопросов. И постепенно, через пару лунок, настроение у дяди улучшилось. На семнадцатой, после быстрого взгляда в обе стороны фервея, он вновь проникся заговорщицким духом.

– Сыграем в шнурки?

Никогда прежде он не упоминал такую игру, но Джин сразу согласилась.

Дядюшка Лесли демонстративно выполнил удар через короткий раф. Когда они поравнялись с мячом, дядюшка наклонился, чтобы снять свои коричневые с белым туфли-соответчики. Свободные концы шнурков он уложил крестом на середину стельки, посмотрел на Джин и кивнул. Та, сняв свои черные прогулочные башмаки, сделала то же самое. У нее на глазах он с комичной педантичностью протолкнул сначала пальцы, а потом и всю стопу обратно в туфли. Она сделала то же самое; он подмигнул, опустил на одно колено, словно делая ей предложение, погладил ее по икроножной мышце и медленно вытянул оба шнурка из-под ее мяг-

кой левой подошвы. Джин захихикала. Ощущение было восхитительное. Сначала чуть-чуть щекотно и постепенно все сильнее, и волна удовольствия хлынула вверх, до самого желудка. Джин зажмурилась, а дядюшка Лесли дразняще высвободил шнурки из-под ее правой ступни. С закрытыми глазами получилось еще лучше.

Затем наступил его черед. Она присела на корточки у его ног. С близкого расстояния туфли его казались громадными. Носки слегка пахивали скотным двором.

– Мне – по одному, – шепнул он, и она ухватила за первый шнурок рядом с тем местом, где он исчезал в своей дырочке.

Потянула; ничего не случилось; потянула более резко; дядя шевельнул ступней, и внезапно шнурок высвободился.

– Так не пойдет, – сказал он. – Слишком быстро. Положи обратно.

Он изогнул ступню дугой, и Джин просунула длинный коричневый шнурок ему в туфлю, между влажным носком и стелькой. Затем вновь потянула; шнурок вышел с медлительной непринужденностью, и тишина сверху позволила ей сделать вывод, что она все сделала правильно. Один за другим она вытащила оставшиеся три конца шнурков. Он погладил ее по голове.

– Думаю, слишком плоское движение, ты согласна? Забирай повыше, придай чуток бэкспина – и все будет тип-топ.

– Может, заново попробовать?

– Ни в коем разе. – Все свое внимание он переключил на мяч, пошаркал, как будто шнурки до сих пор оставались в плену, и расслабленно поводил туда-сюда головкой клюшки. – Пусть батарейки подзарядятся, правда же?

Она кивнула; он подтолкнул мяч на несколько дюймов к более замшелой травянистой плашке, где тот надежно угнездился, а сам, еще немного потоптавшись, выполнил чистый удар по направлению к флагу и зашагал по фервею.

– Шнурки! – обернувшись, прокричал он, и она наклонилась, чтобы их завязать.

Впоследствии они возвращались к игре в шнурки, причем весьма часто. Не всегда в Старом Зеленом Раю; иногда, спонтанно и украдкой, у нее дома. Правила не менялись: сперва водил дядюшка Лесли и вытаскивал оба шнурка; потом она – и тащила по одному за раз. Однажды она попробовала играть одна; но это было совсем не то. Ее мучил вопрос: не заболит ли она от этой игры? За всем приятным, как она знала, неизбежно следует расплата – болезнь. Наешься шоколадных конфет, пирожных, инжира – живот заболит; будешь горланить – начнется коклюш. Но чем могла грозить игра в шнурки?

Ответ на этот вопрос обещал найтись довольно скоро. А потом, становясь старше, она будет находить и другие ответы. Ответы на очень разные вопросы. Как решить, какую использовать клюшку. Существует ли бутербродный музей. Почему иудеям гольф не по нутру. Испугался ли папа во время полета на «де хэвилленде» или просто сосредоточился. Откуда Муссо знает, как держать газету. Почему еда выглядит совсем иначе, когда выходит из другого конца тела. Каким способом курить сигарету, чтобы с нее не падал пепел. Таятся ли Небеса в дымоходе, как она втайне подозревала. И почему норка до последнего цепляется за жизнь.

Джин не понимала, что подразумевает эта заключительная фраза, но со временем рассчитывала вернуться к этому вопросу, а потом, быть может, и найти ответ. Норку она знала по эстампам тети Эвелин. Их осталось только два из якобы существовавшей некогда коллекции; теперь они кочевали со стенки на стенку. Папа считал, что одного более чем достаточно, однако по настоянию мамы оба эстампа Эвелин оставались рядом. Это справедливо, утверждала она.

На горизонтальной картинке были изображены в лесной чаще двое мужчин в старинных костюмах и шляпах. Тот, что с бородой, держал за шкурку хорька, тогда как безбородый опирался на ружье. У его ног высилась целая груда хорьков. Только это были не хорьки, потому что

заголовок эстампа гласил: «Ловля норок в капканы»; а ниже шел текст, который Джин читала и перечитывала не раз.

Норка, равно как и ондатра, и длиннохвостая ласка, и горноста́й, не отличается большой хитростью и попадает в засады любого типа: в металлические капканы, в ящичные ловушки, но чаще всего в так называемые западни. Ее привлекает любое мясо, но обычно, по нашим наблюдениям, в качестве приманки используется голова гривастой шотландской куропатки, дикой утки, курицы, сойки или другой птицы. Норка до последнего цепляется за жизнь, и нам довелось найти такую зверушку в западне под буреломом: еще живую, придавленную жердью весом в 150 фунтов, из-под которой она пыталась выбраться в течение почти что суток.

Фраза «до последнего цепляется за жизнь» была не единственной, которая ускользала от ее понимания. Кто такая гривастая шотландская куропатка? А ондатра? Дикая утка – это понятно, да и пара твякающих соек-пересмешниц прошлой осенью жила в березняке у четырехнадцатой лунки-доглег, а курицу – если папа оказывал какую-нибудь услугу клиенту – у них в семье подавали к воскресному обеду. Чтобы ее ощипать и выпотрошить для передачи маме, к ним с утра пораньше приходила миссис Бакстер, которая потом забегала еще раз, после пяти, за одной из ножек, завернутой в вощеную бумагу. Разрезая курицу, папа Джин любил прохаживаться насчет ножек миссис Бакстер, отчего его дочка хихикала, а жена поджимала губы.

– Миссис Бакстер забирает и голову тоже? – однажды спросила Джин.

– Нет, милая. Почему ты спрашиваешь?

– А куда ты ее деваешь?

– Выбрасываю в мусорное ведро.

– Может, лучше ее приберечь, а потом продать охотникам за норками?

– Охотников этих попробуй замани к нам в дом, девочка моя, – весело отвечал папа. –

Попробуй замани!

На вертикальном эстампе – в комнате Джин – была изображена прислоненная к дереву лестница с надписями на ступеньках. Самая нижняя ступенька гласила: **ТРУДОЛЮБИЕ**, вторая снизу – **УМЕРЕННОСТЬ**, а точнее – **УМЕРЕННОС**, поскольку две последние буквы загорала коленка взбирающегося наверх человека. Затем следовали **БЛАГОРАЗУМИЕ**, **БЕРЕЖЛИВОСТЬ**, **ДОСТОИНСТВО**, **ЭКОНОМИЯ**, **ПУНКТУАЛЬНОСТЬ**, **ХРАБРОСТЬ** и – на верхней ступеньке – **УСЕРДИЕ**. На переднем плане тянулась очередь: люди жаждали влезть на дерево к свисающим с листьев рождественским шарикам, на которых тоже читались слова, но уже другие: «Счастье», «Честь», «Милость Божия» и «Человеколюбие». На заднем плане находились люди, не желавшие лезть на дерево: они играли в азартные игры, мошенничали, делали ставки, бастовали и заходили в какое-то большое здание под названием «Биржа».

Джин улавливала общий смысл этой картинки, хотя иногда по рассеянности путала это дерево с Древом познания, о котором узнала из Библии. Ясное дело: залезать на Древо познания никуда не годилось; а на это дерево, ясное дело, залезать было похвально, хотя она, если честно, не понимала значения кое-каких слов на ступеньках, а тем более двух слов, что читались на опорных шестах лестницы: с одной стороны – **НРАВСТВЕННОСТЬ**, с другой – **ПОРЯДОЧНОСТЬ**. Но кое-какие слова она вроде бы уяснила. Порядочность требовала хранить рядом два эстампа тети Эвелин, а передвигать свой мяч в более выгодное положение, когда никто не видит, – это уже безнравственность; Пунктуальность означала «не опаздывать в школу»; Экономия – то, к чему папа стремится у себя в магазине, а мама – в домашнем хозяйстве; Храбрость – ну... Храбрость – это полет на аэроплане. Со временем она, конечно же, надеялась понять и все остальные слова.

* * *

Когда Джин было семнадцать, началась война, и это событие принесло ей облегчение. У нее гора с плеч свалилась: ей больше не приходилось чувствовать себя виноватой. В течение нескольких предшествующих лет ее отец решительно взваливал на свои плечи бремя различных политических кризисов; такова была по большому счету его обязанность как Главы Семейства. Он зачитывал им новости из «Дейли экспресс», делая паузу после каждого абзаца, и растолковывал передаваемые по радио сводки. У Джин часто возникало ощущение, будто папа владеет небольшим семейным бизнесом, поставленным под угрозу бандой чужеземцев с заморскими именами: те пользуются незаконными методами ведения дел и устанавливают грабительские цены. Зато мама всякий раз знала, как реагировать; знала, какие звуки – причем различные – надо издавать при упоминании таких имен, как Бенеш, Даладье и Литвинов, и когда лучше всего в замешательстве всплеснуть руками, чтобы потом еще раз выслушать папины объяснения с самого начала. Джин тоже пыталась вникнуть, но это, похоже, была долгая история, которая началась очень давно, еще до ее рождения, и в которой ей не суждено разобраться. На первых порах она помалкивала при упоминании этих злонамеренных иностранных дельцов, которые грузовиками вывозили из страны похищенное диетическое печенье и браконьерски добытых фазанов; но даже молчание оказывалась небезопасным: оно предполагало отсутствие должной озабоченности, так что время от времени Джин задавала вопросы. Но как тут угадаешь, о чем нужно спросить? Ей казалось, что по-настоящему правильный вопрос может задать лишь тот, кто заранее знает ответ, но тогда какой в этом смысл? Как-то раз, очнувшись от навоеванной скукой дремоты, она спросила папу о женщине, занявшей пост премьер-министра Австрии: звали ее Анн Шлюсс. Тут Джин дала маху.

Война, несомненно, была делом мужским. Вели ее мужчины, и каждый мужчина ее же объяснял, вытряхивая пепел из трубки с видом директора школы. А чем во время Первой мировой занимались женщины? Раздавали белые перья, забивали камнями такс, уезжали во Францию служить сестрами милосердия. Существовала ли вероятность, что на сей раз все будет по-иному? Вероятно, нет.

Но при всем том у Джин зрело смутное чувство, будто она, неспособная понять европейский кризис, в некотором роде ответственна за его продолжение. Она чувствовала себя виноватой в Мюнхенскомговоре. Она чувствовала себя виноватой в аннексии Судет. Она чувствовала себя виноватой в заключении пакта о ненападении между нацистами и Советами. Правда, она никак не могла запомнить, можно доверять французам или нет. Кто важнее: Польша или Чехословакия? А что там с Палестиной? Палестина же в пустыне: почему туда стремятся иудеи? Что ж, это хотя бы подтверждало слова дядюшка Лесли: гольф им не по нутру. Ни один гольфист по доброй воле не отправился бы в пустыню, чтобы там поселиться. Кому охота все время играть словно из бункера? Не иначе как на тамошних полях для гольфа фервеи – песчаные, а бункеры – травянистые.

Так вот: с началом войны Джин испытала облегчение. Во всем был повинен Гитлер, а она вообще осталась ни при чем. Но по крайней мере это означало, что рядом нечто происходит. Война засчитывалась как очередная История: так Джин ее и рассматривала на первых порах. Мужчин призывали в армию, мама вступила в Женскую добровольческую службу, а Джин в конце концов получила разрешение состричь желто-каштановую косу, которая невесть сколько лет болталась у нее на спине. Папа горевал о такой утрате, но его убедили, что Джин при мытье головы будет экономить мыло и воду, чем значительно поспособствует мобилизации сил для обороны страны. Расчувствовавшись, отец попросил отдать ему срезанную косу и хранил ее на полке у себя в сарайчике для садового инвентаря, покуда ее не выбросила его жена.

В семействе Сарджентов тайно обсуждался вопрос: не следует ли Джин устроиться на какую-нибудь работу; но в конечном счете было решено возложить на нее домашнее хозяйство, коль скоро мама вступила в Женскую добровольческую службу.

– Хорошая практика, девочка, – подмигнув, сказал папа.

«Хорошая практика»: можно подумать, она проявляла хоть какие-то способности к тому, в чем собиралась практиковаться. Глядя на родителей, она всегда робела: уж очень они взрослые. Сколько же уйдет времени на то, чтобы и ей так повзрослеть?

Они всегда были уверены в себе; имели собственные мнения; могли отличить хорошее от плохого. А она, как ей казалось, отличала хорошее от плохого лишь потому, что ей постоянно сообщали, в чем разница; ее мнения выглядели судорожными, беспомощными головастиками по сравнению с горластыми лягухами родительских взглядов. Что же до формирования собственных мнений, такой процесс и вовсе ставил ее в тупик. Мыслимо ли познать, что именно ты держишь в уме, если не воспользуешься прежде своим умом, чтобы обнаружить свой ум? Так собака вертится в погоне за своим собственным купированным хвостом. От одной этой мысли Джин уставала.

Вторая часть взросления состояла в том, чтобы достичь сходства с кем-нибудь другим. Ее отец, который управлял продуктовым отделом в «Брайдене», выглядел именно как управляющий продуктовым отделом: дородный и опрятный, с эластичными металлическими подвязками на руках, с виду добр, однако располагает и некоторым запасом суровости – такой мужчина знает, что фунт муки – это фунт муки, а не пятнадцать унций, может определить, не глядя на этикетку, какой сорт печенья хранится в той или иной квадратной банке, а также способен придвинуть руку близко – чуть ли не вплотную – к жужжащей машинке для нарезки бекона и не пораниться.

Мама Джин тоже смахивала на других: острый носик, голубые глаза чуть-чуть навывкате, волосы в дневное время, когда она ходила в бутылочно-зеленой с бордо форме Женской добровольческой службы, стянуты в узел на затылке, а вечерами распущены, когда она внимала папе, точно зная, какие нужно задавать вопросы. Она совершала автомобильные поездки для сбора утильсырья и помогла собрать тысячи жестяных банок; она неделями продергивала цветные лоскутки сквозь камуфляжные сети («Как будто создаешь огромный ковер, Джин»); увязывала в кипы макулатуру, замещала кого-то в передвижной столовой, комплектовала корзины с овощами для экипажей минных тральщиков. Уж она-то знала, что у нее на уме; стоит ли удивляться, что она смахивала на других.

Бывало, Джин подолгу смотрелась в зеркало, выискивая в себе признаки изменения; но прямые, тусклые волосы ровно лежали на голове, а голубые глаза были подпорчены дурацкими крапинками. В статье из «Дейли экспресс» пояснялось, что многие голливудские кинозвезды добились успеха лишь благодаря сердцеобразной форме лица. Ну, на это рассчитывать уже не приходилось: подбородок у нее был совершенно квадратным. Было бы еще полбеда, если бы отдельные черты ее лица составляли единое целое. Ой, *пожалуйста*, сдружитесь меж собой. Как-то раз мама, застав ее за таким самокопанием, отметила:

– Ты не красавица, но куда ни шло.

Я – куда-ни-шло, думала она. Мои родители считают, что я – куда-ни-шло. Но согласится ли с этим еще кто-нибудь? Она скучала по дядюшке Лесли. Им сейчас не разрешалось о нем заговаривать, но вспоминала она его частенько; он всегда принимал ее сторону. Однажды в Старом Зеленом Раю они шли по длинной десятой, и Джин, которая несла лопатку для выбивания мяча из бункера в приносящем удачу положении, спросила:

– Кем я буду, когда вырасту?

Ей тогда казалось, что спросить об этом естественно, как естественно и предположить, что ответ скорее найдет дядюшка, а не она. Шагая в своих коричневых с белым туфлях-соот-

ветчиках и тихо побрякивая клюшками, он взялся за лопатку у нее на плече и покачал из стороны в сторону. А затем, положив руку ей на затылок, прошептал:

– Возможности безграничны, малютка Джинни. Возможности безграничны.

Сначала, по мнению Джин, на войне ничего особенного не происходило, но по мере развития событий стали погибать люди. У Джин прибавилось знаний: кто пытается вытеснить папу из бизнеса, как зовут его жуликоватых партнеров. Она люто возненавидела иностранцев с их тайными кознями. Она видела жирный большой палец с грязным ногтем, нажимающий на чашу весов. Быть может, ей стоило поступить на военную службу. Но папа считал, что она принесет больше пользы на своем месте.

– Поддерживай огонь в домашнем очаге, – сказал он.

А вслед за тем война принесла Томми Проссеру. Вот это определенно была История. Уведомление из квартирмейстерской службы пришло во вторник; в среду они подавали в разные инстанции жалобы на то, что у них в доме даже вдвоем тесно, а в четверг прибыл Томми Проссер. Оказалось, это приземистый, худощавый субъект в форме ВВС Великобритании, с черными набриолиненными волосами и черными усиками. Плоский чемодан у него под мышкой был перетянут кожаным ремнем. Приезжий искоса посмотрел на Джин, когда та отворила ему дверь, потом отвел глаза, улыбнулся стенке и представился, как старшему по званию:

– Пилот-сержант Проссер.

– Угу. Да. Нам сообщили.

– Очень любезно с вашей стороны, и все такое.

Тон его ничего не выражал, но незнакомый северный говорок резал ухо, как щербатым ножом.

– Угу. Мама будет дома в пять.

– Мне уйти и вернуться к этому времени?

– Не знаю.

Почему же она ничего не знала? Если он собирается у них поселиться, то, наверное, логично пригласить его войти. А что потом? Или он рассчитывает, что ему предложат чай?

– Хорошо. Вернусь в семнадцать.

Он посмотрел на нее, отвел взгляд, улыбнулся стене и зашагал по садовой дорожке. Из кухонного окна Джин видела, как он, вперившись в свой чемодан, сидит на обочине через дорогу. В четыре часа начался дождь, и она все же пригласила его войти.

Он был направлен к ним на постой из Уэст-Моллинга. Нет, трудно сказать, по какой причине. Нет, не «спитфайры», а «харрикейны». Господи, опять она задает неправильные вопросы. Указав ему в сторону лестницы, ведущей наверх, где находилась его каморка, она тут же засомневалась: может, надо его проводить – из вежливости? Или не надо – из деликатности? Проссеру, видимо, было все равно. Кроме своего имени, он не сообщил о себе ничего, не задал ни единого вопроса, не высказал никаких суждений – даже о том, как все вокруг сияет чистотой и благоухает свежестью. Ему отвели кладовую. Времени на то, чтобы хоть как-то ее облагородить, у них, конечно, не было, но из уважения к постояльцу на стенку повесили эстампы, некогда принадлежавшие тете Эвелин.

Почти все время он сидел у себя в каморке, по часам спускался к завтраку, обеду и ужину, а за столом отвечал на папины вопросы. Странно было видеть в доме двоих мужчин. Вначале папа очень считался с пилотом-сержантом Проссером; с тактичным восхищением расспрашивал о жизни авиатора, заговорщически, с презрением отзывался о «фрицах» и шутливо прикидывал маме «выдать добавку нашему герою стратосферы». Но Проссер, видимо, не всегда отвечал папе в нужном ключе; он принимал добавки без благодарных излияний, которых явно ожидала мама; и пусть охотно помогал закрепить светомаскировочные шторы, весьма вяло участвовал в дискуссиях о стратегии в отношении Северной Африки. Джин отчетливо понимала, что Проссер стал для папы разочарованием; столь же ясно было и другое: постоялец и

сам это знал – и ничего не имел против. Возможно, они просто не находили для него правильных вопросов. Возможно, летающим на «харрикейнах» героям нужны особые вопросы. Или же все дело было в его происхождении: родился он в другой части страны – по его словам, в Ланкашире, неподалеку от Блэкберна. Наверное, там было принято вести себя как-то по-другому.

Время от времени, оставаясь в доме наедине с Джин, Проссер спускался в кухню, прислонялся к дверному косяку и наблюдал, как она гладит, или печет хлеб, или чистит ножи. На первых порах это ее смущало, но потом уже меньше; занимаясь хозяйственными делами под посторонним взглядом, она даже чувствовала себя более нужной. Впрочем, в отсутствие родителей общение с ним не клеилось. Он не всегда отвечал на вопросы; порой ершился, а иногда просто отводил глаза и улыбался, будто припомнив какой-то воздушный маневр, недоступный ее пониманию.

Однажды, когда она чистила плиту, он угрюмо объявил:

– Поймите: меня отстранили от полетов.

Джин подняла глаза, но даже не успела ответить, как он продолжил:

– И прозвали Восход – Восход Проссер.

– Понятно.

Такой ответ вроде бы ни к чему не обязывал. Она вновь принялась наносить коричневую чистящую пасту на стенки духовки. Проссер с топотом удалился к себе в каморку.

Примерно с месяц в доме царила напряженная обстановка. Ни дать ни взять «Странная война», думала Джин; хотелось только верить, что боев за ней не последует. Их и не последовало. Папа все чаще излагал свои взгляды на фронтовые операции лишь наедине с мамой и не упускал случая намекнуть Джин, что не всякий, кто живет с тобой под одной крышей, заслуживает дружелюбного обращения. Достаточно простой вежливости.

* * *

Как-то раз Томми Проссер спустился в четыре часа пополудни. Джин заваривала чай.

– Желаете перекусить? – спросила она, так и не усвоив правил организации постоя.

– Как насчет бутерброда «Отбой воздушной тревоги»?

– А что это?

– Бутерброд «Отбой воздушной тревоги» – неужели никогда не слышали? Вы, не знающая ни в чем нужды? – Она помотала головой. – Заваривайте чай, а я быстренько сварганю.

Через краткий промежуток времени, хлопая дверьми, что-то насвистывая и неизменно стоя к ней спиной, Проссер соорудил на тарелке два бутерброда. Хлеб выглядел так, будто его резали не вполне твердой рукой. Джин невольно призналась себе, что едала бутерброды и повкуснее; она решила высказаться справедливо, но поощрительно:

– Почему в моем листья одуванчика?

– Потому, что это бутерброд «Отбой воздушной тревоги», – ухмыльнулся Проссер и резко отвел взгляд. – Рыбная паста, маргарин и листья одуванчика. Разумеется, качество местных одуванчиков оставляет желать лучшего. Не нравится – можете отослать их назад повару.

– Это... вкуснота. Я уверена, что со временем привыкну.

– А я уверен, что снова буду летать, – подхватил он, словно цитируя вторую часть шутки.

– Да, я уверена, что так оно и будет.

– *Я* и сам уверен, что так оно и будет, – повторил он с неожиданным сарказмом, как будто вместо этого охотно залепил бы ей пощечину.

Господи. Джин чувствовала, что сморозила какую-то постыдную глупость. Она вперилась взглядом в свою тарелку. Наступила тишина.

– А вам известно, – начала она, – что Линдберг, когда летел через Атлантический океан, взял в дорогу пять бутербродов?

Проссер хмыкнул.

– Но съел только полтора.

Проссер еще раз хмыкнул. И без видимого интереса спросил:

– А остальные куда делись?

– Именно это мне всегда хотелось выяснить. Возможно, они хранятся где-нибудь в бутербродном музее.

Наступила тишина. Джин чувствовала, что ее рассказ не произвел никакого впечатления. У нее он был одним из лучших, а она не сумела им козырнуть. Другого такого шанса ей не представится. Надо было придержать его до лучших времен, когда постоялец будет в другом расположении духа. Как же она оплошала. Молчание затягивалось.

– Вы, наверное, знаете, где находится самолет Линдберга, – в конце концов сказала она бодрым тоном собеседницы, которая брала уроки светского общения. – Ну, то есть его-то самолет *наверняка хранится в каком-нибудь музее.*

– Это не самолет, – заметил Проссер. – Какой может быть самолет? Это *аэроплан. Аэроплан.* Ясно?

– Да, – ответила она.

Лучше бы он дал ей пощечину. Аэроплан, аэроплан, аэроплан.

Через некоторое время Проссер коротко кашлянул, будто меняя гнев на милость или на какую-нибудь другую эмоциональную установку.

– Расскажу вам о самом прекрасном зрелище, какое мне только доводилось наблюдать, – натянуто и почти ворчливо выговорил он.

Джин так и сидела, склонив голову, в слабой надежде на какую-нибудь снисходительную похвалу. Вторую половину своего бутерброда она не осилила.

– Я выполнял ночной боевой вылет. В июне, когда было тепло... Летел с отодвинутым фонарем, во тьме и тишине. В полной тишине.

Джин подняла голову.

– Это... – Проссер осекся. – Вряд ли вы знаете, что такое ночное зрение, правда?

На сей раз в его тоне сквозила доброжелательность. Ничего страшного, если она этого не знает; но совсем другое дело – именовать аэроплан самолетом.

– Для этого морковка помогает, – сказала она и услышала, как он усмехнулся.

– Да, помогает. Нас так и прозвали: морковники. Но это не имеет отношения к делу. Тут речь идет о технике. Это цвет свечения приборов. Видите ли, свечение должно быть красным. В обычных условиях оно зеленое и белое, но зеленый и белый свет убивает ночное зрение. Не дает ничего разглядеть. Нет, свечение должно быть красным: красный – единственно нужный цвет. Понимаете, там, наверху, все черное и красное. Тьма – черная, аэроплан – черный, а в кабине все светится красным, отчего даже руки и лицо становятся красными, и ты высматриваешь красный выхлоп. К тому же ты один как перст. И это хорошо. Выполняешь одиночный полет – летишь во Францию. Как раз в то время, когда вражеские бомбардировщики возвращаются с заданий, отбомбившись над нашей территорией. Ты кружишь над каким-нибудь их аэродромом, а то и болтаешься между двумя, если они близко расположены. Выжидаешь, пока загорятся посадочные огни; а иногда, возможно, ориентируешься по навигационным огням. Обычно это «хейнкель» или «дорнье». Но, бывало, и случайный «фокке-вульф» подворачивался. И твоя задача такова. – Проссер коротко фыркнул. – Перед посадкой они всегда делали круг. Вот таким манером: снижение, подлет, вход в зону аэродрома, выполнение левого круга, всегда левого, опять подлет и посадка. – Правой рукой Проссер очерчивал траекторию немецкого бомбардировщика. – Что тут можно сделать, если хватит наглости: подлететь примерно в то же время и затем, когда он уходит на левый круг, выполнить правый. – Второй рукой Проссер прочертил траекторию «харрикейна». – Затем, когда он выходит из своего круга с опущенными закрылками, на скорости чуть выше критической и прикидывает, как выполнить

последний этап поворота и безопасно посадить свой сундук, ты, как черт из табакерки, аккуратно выходишь из своего круга.

Округленные руки Проссера остановились одна против другой.

– Бах. Легкая цель. Поезд ушел. А эти сукины дети думали, что благополучно добрались до дома. Отстрел дичи, вот как это у нас называлось. Браконьерство.

Джин была до некоторой степени польщена, что он ей рассказывает о своих летных подвигах, но виду не подавала. Умолчала и о своем отношении к отстрелу дичи. И не важно, что в «хейнкеле» сидели бесчестные негодяи, возвращавшиеся после бомбардировки Лондона, Ковентри или других городов. Охоту она не одобряла с тех пор, как впервые увидела офорты тети Эвелин, изображающие охотников на норку. Правильно сделали родители, что перевесили их в каморку Проссера. А цеплялся ли за жизнь «хейнкель»?

– Как только ты его сбил – проваливай. Замешкаешься – останется от тебя мокрое место. В любом случае на все про все было минут двадцать.

Вроде бы рассказ Проссера подходил к концу; потом он вдруг припомнил основное, что намеревался ей поведать.

– Ну так вот. Однажды ночью мне не везло. По нулям. Ну, делать нечего. Перелетел через Ла-Манш на большей, чем обычно, высоте, тысяч примерно восемнадцать². Не иначе как уже светало. Видимо, ночи еще шли на убыль. Ну так вот. Лечу, смотрю вдоль Ла-Манша, а солнце только-только встает. И такое было утро – из тех, что... ну, это трудно описать, если своими глазами не видел.

– Я летала на «де хэвилленде», когда лечилась от коклюша, – объявила она с немалой гордостью. – Давно еще. Когда мне было лет восемь-девять.

Проссер не обиделся, что его перебили.

– Такое ясное, что не описать словами. В утреннем воздухе ни облачка, ни ветерка – и встает это гигантское оранжевое солнце. Я глаз отвести не мог; через пару минут оно появилось целиком и уселось таким кровавым апельсинищем, довольное собой, в коктейль из морских волн. Я настолько обалдел, что, сядь мне на хвост сто девятый, я бы даже не заметил. Лечу себе медленно, глядя на солнце. Потом все же прищурился, осмотрелся как положено. Кругом ни души – только мы с солнцем. Ни облачка, весь Ла-Манш как на ладони. Потом вижу – пароход: крошечное пятнышко, а над ним черный дым тучей поднимается; ну, проверил я топливо и пошел на снижение – глянуть, что там творится. Присмотрелся – сухогруз. – От этих воспоминаний Проссер сощурился. – Водоизмещением, навскидку, тысяч десять тонн. Короче, ничего страшного там не случилось. Повернул я на базу. Снизился до высоты этак восьми или девяти тысяч. А дальше... нипочем не догадаетесь. Понимаете, снижался я так быстро, что увидел все сызнова: как это огромное кровавое солнце выползает из-за горизонта. Я глазам своим не поверил. Опять все сначала. Как будто для меня заново кино крутили. Я бы и в третий раз глянул и прибыл домой на честном слове, да только грохнулся в этот коктейль. Не рассчитывал так скоро к ребятам-подводникам наведаться.

– Потрясающе. – Джин была не уверена, что вправе задавать вопросы. Чем-то этот рассказ напомнил ей об их с дядей Лесли приключениях в Старом Зеленем Раю. – А чего еще... чего еще вам недостает?

– Уж всяко не *этого*, – грубовато ответил он. – *Этого* мне *хватило*. Кто увидит такое заново, у того нет будущего. Это ведь чудо, разве нет? Кому охота глазеть на чудеса по второму разу? Просто я рад был увидеть то, что увидел. Потом говорю своим: «Да-да, в то утро я дважды наблюдал восход». А они мне: «Ври, да не завирайся». Потом так и звали меня: Восход Проссер. Не все, конечно. Пока нас не расформировали.

² В футах – т. е. около 5500 м.

Он вскочил и с жадностью, не спросив разрешения, умял оставшуюся на ее тарелке половину бутерброда.

– Чего мне *недостает*, – с нажимом произнес он, – если хотите знать, так это охоты на немцев. Мне в кайф было их убивать. Загонял их к земле, пока не окажутся слишком низко, чтобы выброситься с парашютом, и в воздухе приканчивал. Вот где самая радость. – Проссер, похоже, твердо вознамерился изображать свирепость. – Однажды над Ла-Маншем сцепился я со сто девятым. У него повороты получались более резкими, но силы у нас были практически равны. Мы ненадолго схлестнулись, но на самом деле ни один не мог подобраться ближе к другому, чтобы нажать на гашетку. Чуток погода он оторвался, покачал крыльями и направился к себе на базу. Если бы он не покачал крыльями, я бы так сильно не разозлился. Кто ты, собственно, такой? Рыцарь в доспехах нашелся. Закадычный дружбан и компанейский товарищ. Набрал я чуть высоты. Солнца, чтобы сориентироваться, не было, но этот гад, видимо, и не ожидал, что я буду его преследовать. Думал, наверно, что я, рубаха-парень, полечу домой, набью брюхо и сыграю партию в гольф. Постепенно стал я его нагонять, – то ли он горючку растягивал, то ли еще что. Прошу заметить, к тому времени, как я с ним поравнялся, мою машину уже трясло, как товарняк на ухабах. Дал ему секунд восемь. Видел, как у него от крыла куски отваливаются. Сбивать его не стал, а зря; но, думаю, он понял, что я о нем думаю.

Восход Проссер развернулся и затопал прочь из кухни. Джин вытащила застрявший между зубами кусочек стебля и пожевала. Она оказалась права. На вкус действительно горечь.

После того случая Проссер пристрастился спускаться из своей каморки и заводить разговоры. Обычно Джин продолжала свои хлопоты, а он стоял, прислонившись к дверному косяку. Им обоим казалось, что это упрощает беседу.

– Занесло меня как-то в Истли, – однажды начал он, когда Джин, присев на корточки перед камином, сворачивала для растопки газету «Экспресс». – Смотрю – взлетает малыш «скуа». Немного ветрено, но не так чтобы отменять полеты и вообще. «Скуа» – едва ли вам это известно – взлетает смешно, как бы с опущенным хвостом; ну, думаю, погляжу, хотя бы взбодрюсь чуток. Так вот, разогнался он по прямой полосе и уже набирал взлетную скорость, как вдруг подскочил, а затем кувырнулся. Обалдеть, как это выглядело: шлепнулся просто вверх днищем. Несколько наших парней бросились через гудрон – хотя бы, думали, ребят вытащить. На полпути смотрим – валяется что-то на полосе. Оказалось, это голова летчика. – Проссер посмотрел на Джин, но та, повернувшись к нему спиной, продолжала сворачивать газетную бумагу. – Подходим ближе – а там еще одна. Наверно, когда «скуа» опрокинулся, тогда это и произошло. Да так аккуратно – вы не поверите. Один из наших парней не смог этого пережить. Валлиец; ни о чем другом не заговаривал. «Прямо как одуванчики, скажи, Восход, правда ведь? – говорил он мне. – Идешь – и сшибаешь головки палкой, или чем получится, а сам думаешь: если я и впрямь такой ловкий, так сумею их посшибать, не задев пух». Вот такие у него были мысли. Те, что не отпускают... ты их не ждешь. У меня были товарищи, которых подстрелили в считанных ярдах от меня. Я видел, как они уходят в штопор, орал им по радиации, знал, что они не смогут выброситься с парашютом, и пикировал за ними следом, видел, как они гибнут, а в голове крутилось: надо думать, и меня кто-нибудь проводит в последний путь, когда настанет мой черед. В момент катастрофы тебя потрясает происходящее и некоторое время душит, но потом отпускает. Не отпускают тебя только те случаи, в которых, к чертовой матери, попорано всякое достоинство. Прости, друг. Мне надо это осознать, думаешь ты, и порой худобедно свыкаешься с этой мыслью; но все равно хочешь, чтобы все шло так, как тебе думается. Казалось бы, это уже не важно. Ан нет. Еще как важно... Слыхал я об одном бедолаге из Касл-Бромвича. Он испытывал «спитфайр». Взлетел, направил нос вверх и стал максимально круто набирать высоту. Поднялся примерно до пятнадцати тысяч, но что-то пошло не так. Рухнул с пятнадцати тысяч прямо на полосу, с которой взлетал. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы выкопать. Потом стали разбираться, что от него осталось – на тот случай, если в подаче кисло-

рода был, например, угарный газ; короче, собрали все останки, чтобы отправить на экспертизу. Причем отправили *в банке из-под конфет*. – Он задумался. – Вот в чем ужас.

Джин не могла полностью уловить, в чем именно заключался ужас. Головки одуванчиков, банки из-под конфет – конечно, все это виделось недостойным. Возможно, потому, что звучало как-то обыденно, совсем не героически. Но ведь быть сбитым, или врезаться в горный склон, или заживо сгореть в кабине тоже не слишком привлекательно и благородно. Наверное, она слишком молода, чтобы рассуждать о смерти или о связанных с нею предрассудках.

– И как лучше всего... встретить такой миг?

– Раньше я постоянно об этом думал. Постоянно. Когда началась эта заваруха, я обычно воображал себя где-то около Дувра. Солнце, чайки, отблески древних меловых скал – прямо как у Веры Линн. Так или иначе, я тоже мог бы остаться там без боеприпасов, с пустыми топливными баками – и вдруг налетает целая эскадрилья «хейнкелей». Как огромный рой мух. Я бы пошел на перехват, вклинился прямо в их гущу с пробитым в решето фюзеляжем, выбрал ведущего ударной группы, подлетел прямиком к нему и врезался ему в хвост. И мы бы вместе рухнули на землю. Очень романтично.

– Для этого требуется смелость.

– Нет, смелость ни при чем. Это жуткая глупость и к тому же расточительность. Счет один-один – никудышное соотношение.

– И даже сегодня так считается? – Джин сама немного удивилась своему вопросу.

– Ну, сегодня... Сегодня мы несколько более реалистичны. И несколько более расточительны. Сегодня я бы последовал примеру довольно большого числа летчиков, особенно молодых, которые летали еще году в тридцать девятом – сороковом. Надо заметить, что есть такие парадоксы. Ты не можешь набраться мастерства, не набравшись опыта, но, пока ты набираешься опыта, тебя с большой вероятностью собьют. И самых молодых пареньков ты рискуешь не увидеть после вылета. Поэтому на войне в эскадрильях случается так, что старослужащие становятся старше, а молодые – моложе. Затем некоторых стариков оттесняют, поскольку они слишком ценны, чтобы их потерять, и все заканчивается тем, что опыта у тебя становится меньше, чем было вначале. Ну так вот. Представьте, что вы – там, наверху, реально высоко. Когда поднимаешься выше двадцати пяти тысяч, попадаешь словно бы в другой мир. В первых, там жуткий колотун; да и машина ведет себя по-иному. Медленнее набирает высоту и скользит по небу, потому как воздух сильно разрежен, и винтам не за что ухватиться, и управление чуток буксует. Потом у тебя начинает запотевать оргстекло, и обзор становится хуже. Опыт боевых вылетов у тебя невелик, и набирать высоту слегка боязно. Поднимаешься прямо к солнцу – тебе кажется, что так безопаснее. Там наверху оно гораздо ярче, чем обычно. В вышине все гораздо ярче. Прикладываешь ладонь козырьком, слегка разводишь пальцы и щуришься. Продолжаешь набирать высоту. Сквозь пальцы смотришь на солнце, не отводя взгляд, и замечаешь, что чем ближе подлетаешь к нему, тем тебе холоднее. Ты должен был бы по этому поводу беспокоиться, но этого не происходит. Не происходит потому, что тебе радостно. А радостно тебе по причине крошечной утечки кислорода. Тебе даже в голову не приходит, что тут какой-то подвох; да, реакции замедляются, но ты считаешь, что это нормально. Потом ты слегка слабеешь; не крутишь головой так часто, как надо бы. У тебя ничего не болит, ты даже не ощущаешь холода. Больше не хочешь никого убивать: это чувство утекало вместе с кислородом. Ты чувствуешь себя *счастливым*. А потом – одно из двух. Либо на тебя со вспышкой и шквалом пламени обрушивается сто девятый, и все заканчивается, как по нотам. Или вообще ничего не происходит, и ты продолжаешь набирать высоту через разреженный голубой воздух, неотрывно глядя на солнце сквозь пальцы; оргстекло заиндевелось, но внутри тепло, уютно, и ни одной мысли в голове, пока рука не упадет тебе на колени, а голова – на грудь, но ты даже не замечаешь, что тебе каюк...

Как прикажете на это реагировать? – подумала Джин. Нельзя же заорать «Постойте!», как будто Проссер, стоя на парашюте, собирается покончить с собой. Нельзя с чистой совестью признать, что это был смелый и красивый рассказ, пусть даже тебе он показался именно таким. Нужно просто выждать – и пусть рассказывает дальше.

– Иногда мне думается, что не надо меня больше допускать к полетам. Я же вижу, что в один прекрасный день смогу что-нибудь этакое выкинуть. Как только почувствую, что сыт по горло. Конечно, надо будет сделать это над морем, иначе, не ровен час, грохнешься в чей-нибудь огород. Как после этого хозяева будут «копать во имя победы»?

– Это немыслимо.

– Вот именно что немыслимо.

– А... кроме того... вы еще не налетались... – Джин задумывала эту фразу как осторожный вопрос, но в середине, похоже, запаниковала: получилось высокомерно и категорично.

В ответ Проссер сменил тон на более жесткий:

– Ну, вы, милая девушка, хорошая слушательница, это правда, но не смыслите ни бельмеса. Ни бельмеса не смыслите.

– По крайней мере, я знаю, что ничего не смыслю, – сказала Джин, к своему изрядному удивлению; и к его удивлению тоже, потому что его тон сразу смягчился. Он продолжил, будто в забытьи:

– Там, наверху, действительно все иначе. То есть, когда налетал с мое, к тебе на какую-то минуту внезапно приходит осознание, что ты сыт по горло. Надо понимать, это нервы: ты очень долго был в напряжении, а потом слегка расслабился – и ощущение такое, будто это насовсем. Если хотите послушать курьезные истории, вам стоит пообщаться с кем-нибудь из ребят с «летающей лодки».

Хотела ли она послушать курьезные истории? Если про банки из-под конфет или про головки одуванчиков, то нет. Но Проссер не оставил ей выбора.

– Один мой приятель летал на «каталинах». Там боевые дежурства могут длиться от двадцати до двадцати двух часов кряду. Подъем в полночь, завтрак, вылет в два часа ночи и возвращение только в восемь или девять вечера. Наматывают часы над одним и тем же участком моря: какие уж там ощущения... Даже управлять не надо: почти все время «Джордж» ведет. А ты знай тарачишься на море, высматривая подлодки, и ждешь очередной заварухи. Вот тогда-то твои глаза и начинают играть с тобой всякие шутки. Тот мой дружбан рассказывал, как однажды летал над Атлантикой и ни с того ни с сего резко взял штурвал на себя. Померещилось ему, что впереди гора.

– Наверно, это было такое облако – с виду как гора.

– Нет. После того как он выровнялся, а экипаж с досады обматерил его на все лады, ему удалось как следует оглядеться. Ничего: ни облачка, небо совершенно ясное... А с другим парнем приключилось нечто еще более диковинное. Нипочем не догадаетесь. Находился он в ста пятидесяти милях от западного побережья Ирландии. Летит – не торопится, смотрит вниз – и что он видит? Видит какого-то мотоциклиста: тот едет себе не спеша, как на воскресную прогулку.

– По воздуху?

– Конечно нет. Не глупите. По воздуху ехать невозможно. Двигался он по гребням волн; все чин чинарем. Очки, кожаные перчатки с крагами, сзади шлейф выхлопных газов. И довольный, как слон.

Джин захихикала:

– По морю, как по суше. Иисус, да и только.

– Я бы попросил: вот этого не надо, – с упреком выговорил Проссер. – Сам я в этом смысле без фанатизма, но не богохульствуйте в присутствии тех, кого это может покоробить.

– Прощу прощения.

– Принято.

* * *

– А вы кто?

– Я полицейский.

– Честно?

– Да.

– Правда-правда? Вы не похожи на полицейского.

– Нам приходится умело маскироваться, мисс.

– Но если переусердствовать, никто не поверит, что вы полицейский.

– Распознать всегда можно.

– Каким образом?

– Подойдите ближе – я покажу.

Он стоял у пропитанной креозотом парадной калитки с резным навершием в виде восходящего солнца; Джин оказалась на середине бетонированной дорожки – шла пощупать развешенное на веревке белье. Рослый, с мощной головой и с шеей школьника, стоял он в какой-то неловкой позе; коричневое пальто в елочку доходило ему почти до щиколоток.

– Ноги, – сказал он, указывая вниз.

Она посмотрела. Нет, ступни были не великанские, а, можно сказать, плоские и даже небольшого размера. Но что-то в них ее слегка рассмешило... Вывернутые какие-то, что ли? Да, в самом деле: мыски ботинок смотрели в разные стороны.

– Вы надели ботинки не на ту ногу? – спросила она, хотя это было почти очевидно.

– Вовсе нет, мисс. У всех полицейских такие ступни. Это предусмотрено уставом.

Она готова была поверить.

– Кое-кому из новобранцев, – голос его наводил на мысли о сырых застенках, – требуется *оперативное вмешательство*.

Тут уж она не поверила. И рассмеялась, а потом еще раз, когда он под своим длинным пальто театрально вернул скрещенные ноги в нормальное положение.

– Вы пришли меня арестовать?

– Я пришел по поводу светомаскировки.

Оглядываясь назад, она думала, что это был довольно эксцентричный случай знакомства с будущим мужем. Но бывают и более эксцентричные, предполагала она. А в сравнении с иными способами – едва ли не многообещающий.

Потом он еще раз зашел по поводу светомаскировки. А в третий раз просто случайно проходил мимо.

– Не желаете ли сходить в паб – тут рукой подать, или прогуляться до чайной, или съездить познакомиться с моими родителями?

Она рассмеялась:

– Надо думать, один из этих вариантов устроит мою маму.

Так и вышло; они стали видаться чаще. Она обнаружила, что глаза у него темно-карие, что он высок ростом и слегка непредсказуем; но главное – высокий. Он обнаружил, что она нерешительна, доверчива и простодушна на грани предосудительного.

– Разве нельзя это подсластить? – спросила она, впервые отведав смесь мягкого и горького эля.

– Извини, – ответил он, – совсем забыл. Лучше закажу для тебя что-нибудь другое.

В следующий раз он вновь заказал ей порцию мягкого и горького эля, а потом вручил скрученную фантиком бумажку. Всыпав сахар в свой стакан, она вскрикнула: пиво вспенилось и хлынуло через край; она облилась и соскочила с табурета.

– Верный способ поднять настроение, правда, сэр? – сказал, вытирая стойку, бармен.

Майкл рассмеялся. Джин смутилась. Он подумал, что она дуреха, разве не так? А уж бармен – тот определенно решил, что она дуреха.

– А знаешь ли ты, сколько бутербродов взял с собой Линдберг, когда совершал перелет через Атлантику?

Майкл опешил и от ее внезапно прорезавшегося властного тона, и – не меньше – от сути вопроса. Видимо, это была загадка. Да, наверняка; ему оставалось лишь послушно ответить:

– Не знаю. Сколько же *конкретно* бутербродов взял с собой Линдберг, когда летел через Атлантику?

– Пять, – многозначительно сказала она, – но съел только полтора.

– Так-так. – Ничего другого ему не пришло в голову.

– А как ты думаешь, почему он съел только полтора? – спросила она.

Наверное, это все-таки загадка.

– Не знаю. *Почему же* он съел только полтора?

– Понятия не имею.

– Ну и ну.

– Я подумала: вдруг *ты* знаешь, – разочарованно выговорила она.

– Вероятно, он съел только полтора по той причине, что они были куплены в минимаркете «Эй-би-си» и оказались черствыми.

Оба рассмеялись – в основном от облегчения, что разговор не увял окончательно.

Вскоре у Джин появились основания полагать, что она его любит. Ну а как же иначе? Она все время о нем думала; по ночам лежала без сна и предавалась разным фантазиям; ей нравилось разглядывать его лицо, на удивление полнокровное, интересное и мудрое, но совсем не мясистое, как ей показалось вначале, а эти красные пятна на щеках – свидетельство сильного характера; она немного побаивалась вызвать его неудовольствие; и ценила его, поскольку видела в нем надежного и заботливого спутника жизни, того самого мужчину, который будет о ней заботиться. Если это не любовь, то что же?

Однажды вечером он провожал ее домой под высоким спокойным небом – под небом без облаков и без аэропланов. Тихонько, будто бы для себя, он напевал с присущим ему ненавязчивым американским акцентом известного шансонье:

Орел – это будет к венчанью,
Решка – поманит в круиз.
Нам выпал орел неслучайно,
Откроем родным наш сюрприз.

Дальше он просто мурлыкал этот мотив, но ей чудились все те же слова. А вскоре они вернулись к пропитанной креозотом калитке с резьбой, и Джин плотно прижалась к лацкану его пиджака, прежде чем отстраниться и убежать в дом. Возможно, таким способом она к нему бессовестно приставала, как делал в свое время дядюшка Лесли. Напев тот же мотив про себя, она словно хотела прояснить ситуацию, но все напрасно: это была всего-навсего чудесная мелодия.

На следующий вечер, когда они дошли до того же места в переулке и небо оказалось таким же нежным, она обнаружила, что почти задыхается. Не сбиваясь с ритма своей размашистой походки, Майкл завел старую песню:

Орел – значит будут детишки.
Решка – мы купим кота.
Нам выпал орел, о малышка,

Бедлам, шум и гам, суета.

Она не нашлась с ответом. У нее не получалось собраться с мыслями.

– Майкл, хочу тебя кое о чем спросить.

– Да? – Они остановились.

– Когда ты в первый раз сюда пришел... Ведь никаких изъяснов светомаскировки у нас не было?

– Ну, не было.

– Я так и знала... А дальше ты стал кормить меня этими враками про ступни полисменов.

– Каюсь, виноват.

– А *кроме того*, ты мне даже не сказал, что сахар в пиво не кладут.

– Не сказал, мэм.

– Так с какой радости мне выходить за такого пустозвона?

Она умолкла. Придумывая ответ, он взял ее под руку.

– Допустим, заявился бы я к тебе домой и сказал: «Хочу сообщить: шторы затемнения подогнаны у вас идеально, а ступни у меня, между прочим, совершенно нормальные – извольте убедиться», – да ты бы смотреть в мою сторону не стала.

– Возможно.

Он обхватил ее обеими руками:

– И раз уж мы начали выяснять отношения, хочу еще кое-что уточнить.

Едва заметно подавшись вперед, он будто готовился ее поцеловать, но она не поддавалась. Пусть это была всего лишь детская иллюзия, но ее не покидало смутное ощущение, что перед вступлением во взрослую жизнь необходимо устранить все недомолвки.

– Почему норка до последнего цепляется за жизнь?

– Очередная загадка?

– Нет. Просто хочу понять.

– Почему норка до последнего цепляется за жизнь? Станный вопрос.

Они пошли дальше; он заключил, что она просто уклоняется от его поцелуев.

– Норки – отвратные, злобные мелкие твари, – объявил он, не вполне довольный своим ответом.

– И по этой причине цепляются за жизнь?

– Скорее всего. Отвратные, злобные мелкие твари обычно борются за жизнь куда яростней, чем крупные, мягкие создания.

– Хм...

Джин рассчитывала услышать несколько иной ответ. Более определенный. Но до поры до времени удовлетворилась и этим. Они не останавливались. Взглянув на небо, высокое и безмятежное, с редкими, легкими стайками вечерних облаков, она спросила:

– Ну так что: скоро ли свадьба?

Он улыбнулся, покивал и замурлыкал свой привычный мотив.

Наверно, любить Майкла – это правильно. А если и неправильно, то придется. И даже без любви придется за него выйти. Нет-нет, она, конечно же, его любит, и, конечно же, это правильно. Майкл – вот ответ, и не важно, каков был вопрос.

Ухажеров у нее было не так уж много, но она не расстраивалась. В слове «ухажер», на ее слух, звучало нечто настолько дурацкое, что сами ухажеры тоже начали казаться ей придурковатыми. Где-то она не то вычитала, не то услышала такую фразу: «Он за собой ухаживает» – и с тех пор считала, что всех ухажеров отличает именно такая черта. Неужели их потому и прозвали ухажерами, что они уделяют все внимание уходу за собой? Ее всегда влекло к умным мужчинам, а не к самовлюбленным.

Для сравнения она мысленно выстроила перед собой мужчин, с которыми общалась. Наверное, мужчин можно разделить на тех, у кого есть задатки ухажеров, и на тех, у кого есть задатки супругов. Как ухажеры, Лесли и Томми Проссер, наверное, неплохи, но стоит ли с такими связывать свою судьбу? Они слегка беспутны, и полагаться на их миропонимание, вероятно, не следует. Зато такие, как папа и Майкл, судя по всему, изначально созданы для супружества. И на себе не заикливаются, и обеими ногами стоят на земле. Вот, к слову, дополнительный критерий для сравнения мужчин: одни обеими ногами стоят на земле, а другие витают в облаках. Майкл при первом же знакомстве привлек ее внимание к своим ногам: ступни, хотя и развернутые не пойми как, на земле стояли прочно.

Этот новый критерий вполне подходил для описания четверки знакомых ей мужчин. Ни с того ни с сего ей представилось, как она целуется с Томми Проссером, и при одной мысли о его усах ее пробрал озноб: как-то раз она потренировалась на зубной щетке, и худшие страхи ее подтвердились. Что до Майкла – тот был на голову выше остальных и демонстрировал Перспективы Дальнейшего Роста (ее мама всегда маркировала это выражение прописными буквами). Под своим необъятным пальто Майкл, по мнению Джин, всегда был одет весьма посредственно; впрочем, после войны она планировала это исправить. Ведь женщины в супружестве тем и занимаются, правда? Избавляют мужчин от врожденных недостатков и пороков. Да, с улыбкой думала она, *у меня* он живо отучится ухаживать за своей персоной.

Для такой уверенности у нее были все основания. И если это не любовь, то что же? А он-то любит ее? Конечно. И повторяет это каждый раз, когда они целуются на прощанье. К тому же папа всегда говорил, что полицейские – люди надежные.

Майкла бесил только один предмет разговора: Томми Проссер. Возможно, по ее вине. Она и впрямь часто заводила беседу о Томми, но это же было естественно, правда? Днями напролет она сидела в четырех стенах, и Томми нередко оказывался рядом. Когда за ней заходил Майкл и спрашивал, что она поделявала... неужели ему было бы интересно выслушивать, как она чистила духовку и развешивала белье? Вот она и делилась с ним байками Томми Проссера, а однажды спросила, знает ли он, что такое бутерброд «Отбой воздушной тревоги».

– Вечно ты со своими бутербродами, – бросил Майкл. – Надо же: *бутерброды*.

– Эти – с одуванчиками.

– Отрава какая.

– Да, не слишком аппетитно.

– Он себе на уме, вот что меня настораживает. Никогда в лицо не смотрит. Вечно отворачивается. А я привык иметь дело с теми, кто не прячет глаза.

– Он не такой рослый, как ты.

– При чем тут рост, глупышка?

– Ну, может, он из-за этого и не смотрит тебе в лицо.

– Рост вообще не имеет отношения к делу.

Ну да ладно. По крайней мере, ей хватало ума не заикаться, что Проссер отстранен от полетов, хотя между супругами тайн быть не должно. И еще она утаила его прозвище: Восход.

Проссер же совсем не бесился, когда она заводила разговоры о Майкле, притом что не всегда разделял ее восторги.

– Сгодится и такой, – неизменно отвечал он.

– Вы и вправду думаете, Томми, что это стоящий вариант?

– Неплохой, душечка. Я так скажу: он-то уж точно не прогадает.

– Но вы ведь женаты? И счастливы?

– Слишком редко бываю дома, чтобы делать такие выводы.

– Да, наверное. Но вам в самом деле нравится Майкл?

– Сгодится и такой. Не мне же с ним под венец идти.

– И он рослый, правда?

– Вполне.

– Скажите честно: вы согласны, что из него получится отличный супруг?

– Единожды обжечься полезно. Только смотрите не обожгитесь дважды.

Она толком не знала, как это понимать, но все равно сильно рассердилась на Томми Проссера.

* * *

Миссис Барретт, одна из самых деловитых и современных женщин у них в пригороде, заглянула к Джин, подгадав, чтобы та была дома одна, и вручила ей небольшой пакет.

– Мне-то теперь это без надобности, дорогуша, – только и сказала она.

Потом, уже в постели, Джин развернула оберточную бумагу и увидела книжку в бордовом тканевом переплете – советы новобрачным. В самом начале помещался список книг авторши. Из-под ее пера вышли «Флора мелового периода» (в двух томах), «Растения древнего мира», «Очерк жизни растений», «Японский дневник», а также пьеса в трех актах «Наши страусы» и с десяток изданий под рубрикой «Сексология». Одна из них именовалась «Первые пять тысяч». Первые пять тысяч *чего*?

Джин не вполне понимала, как подступиться к этой книге и стоит ли вообще это делать. Не лучше ли выведать такие подробности у Майкла? Уж он-то наверняка знает, что к чему? Или нет? Подобных материй они никогда не касались. Достаточно, если мужчина разбирается в этих делах, а откуда у него такие сведения – женщине лучше не знать. И Джин относилась к этому спокойно: глупо было бы копаться в прошлой жизни Майкла. Та жизнь осталась далеко позади – в довоенном времени. Тут ей в голову скользнуло, как вампир в дверь, слово «проститутка». Ну да, мужчина посещает проститутку, чтобы дать выход своим животным страстям, а потом находит себе порядочную жену; так уж заведено, разве нет? Обязательно ли ездить в Лондон, чтобы посещать проститутку? Наверное, да. По ее мнению, чуть ли не все гадости, связанные с сексом, происходили в Лондоне.

В тот вечер она лишь небрежно полистала книгу, даже не остановившись на главе «Сон. Дети. Общество» и на «Приложении». Такой просмотр не считался чтением. И все же со страниц слетали какие-то выражения, которые, подобно чертополоху, липли к фланелевой ночной сорочке. Одни смешили, другие отпугивали. Раз за разом повторялось слово «эрегированный», а еще «оргазм». Ей претило уже одно их звучание. «Увеличенный и напряженный», – читала она; «увлажненный слизью», «возбужденный», далее «мягкий, небольшого размера, вялый» (фу!); «несоответствие размеров и позиций половых органов»; «неполная абсорбция мужских выделений»; «вагинизм».

В конце книги рекламировался поставленный по пьесе «Наши страусы» спектакль, «премьеры которого состоялась в театре „Ройял-Корт“ 14.11.1923 г.». По мнению журнала «Панч», эта постановка искрилась «иронией и юмором в блестящем сценическом воплощении». Газета «Санди таймс» сочла, что «действие вызывает у зрителя неослабевающее возбуждение». Джин невольно захихикала и тут же устыдилась. Что за грязные мыслишки? Но тут же фыркнула повторно, вообразив аналогичную рецензию со словами: «...предельно напряженный».

О книге, полученной от миссис Барретт, Джин рассказала Майклу на прогулке.

– Удачно, – пробормотал он, отводя глаза. – Я и сам над этим раздумывал.

Чтобы расспросить его о проститутках, она долго собиралась с духом, но в этом месте улицы он всегда мурлыкал свою мелодию, и Джин решила, что выбрала неподходящий момент. И все же Майкл, несомненно, счел, что такой источник будет ей полезен, а потому вечером она уже более целенаправленно взялась за эту книгу. Ее поразило, как часто слово «секс» тянется к другим словам: «секс-просвещение», «секс-символ», «секс-шоп», «секс-бомба», «секс-услуги». И всюду мельтешат дефисы. Секс-дефисы, подумалось ей.

Она пыталась сосредоточиться, но все равно многое оставалось непонятным. Авторша самодовольно заявляла, что пишет простым и доходчивым языком, но Джин запуталась почти сразу. У нее не возникало особого желания читать то, что выхватывал глаз, – про «энергетические каркасы» и «трещину в лютне». А как прикажете понимать то, что «клитор морфологически коррелирует с мужским пенисом»? Занятные истории можно было пересчитать по пальцам. «Екатерина Арагонская постановила, что в законном браке надлежит совершать шесть актов ежесуточно. В наше время столь гиперсексуальная особа наверняка заездила бы до смерти с десятков законных мужей...» Это еще куда ни шло.

Даже те разделы, которые Джин понимала без труда, не подтверждались ее личным опытом. «В настоящее время город с его метрополитеном и кинотеатрами предоставляет меньше возможностей для мирного романтического флирта, – читала она, – нежели сады и кущи прошлого, где сбор лаванды или розмарина мог служить трогательным предлогом для неторопливого возбуждения глубокой взаимной страсти». Спору нет: на их с Майклом долю выпало военное лихолетье, но их отношения развивались, скорее, как в городе, ибо звать ее на сбор лаванды он определенно не спешил. Да и она с ходу не смогла бы ответить, где у них в пригороде растет лаванда. И почему названы только кустарники? Чем плохи цветы?

Далее: в тексте упоминалась какая-то «периодичность повторений» – нечто вроде графика, который показывает, как нарастает и угасает влечение у женщин в течение месяца. Графиков было два. Один значился как «Кривая нормального влечения у здоровых женщин», а второй показывал «Слабость и краткость возбуждения у женщин, страдающих от утомляемости и перегрузок». В конце второго графика уровень потенциального желания резко взмывал вверх и обрушивался вниз, как мячик для пинг-понга на струе фонтана. В пояснительных строках говорилось: «Непосредственно в преддверии, а также на протяжении пика „d“ повышение тонуса объекта наблюдения достигалось за счет воздействия горного воздуха».

И наконец, в разделе «Целомудренность и романтика» ей попался на глаза такой совет: «Маневрируйте. Избегайте всего низменного, тривиального, грубого. Насколько возможно, старайтесь подпускать к себе мужа лишь в те моменты, когда близость сулит наслаждение. Если позволяет материальная обеспеченность, мужу и жене рекомендуется иметь отдельные спальни. При отсутствии указанной возможности общую спальню целесообразно разделить ширмой».

На следующем свидании с Майклом она задала ему три вопроса.

– Что такое «морфологически»?

– Сдаюсь. Это как-то связано с бутербродами?

– Тебя никогда не тянуло нарвать лаванды и розмарина?

Он покосился на нее чуть серьезнее:

– Ветер дует с Коуни-Хэтч, как я понимаю?

– А можно, чтобы у нас у каждого была отдельная спальня?

– Вот так неожиданность! Я ведь, милая моя, еще пальцем к тебе не притронулся.

– Но ты же должен быть охотником, который грезит о нежданной встрече с Дианой.

– Падкой до лаванды и розмарина?

– Возможно.

– Ну, тогда мне проще завести лошаденку. – Они дружно посмеялись, и Майкл добавил: – А вообще говоря, зачем мне Диана в лесной чаще, когда у меня есть Джин за живой изгородью?

В тот вечер она убрала книгу с глаз долой. Ничего полезного в ней не было – всякая чепуха.

Прошло три дня, и Майкл как бы мимоходом сообщил:

– Да, кстати. Записал тебя на прием.

– К кому?

– Да к одной там, в Лондоне. Она, похоже, свое дело знает. О ней хорошие отзывы.

– А она, случайно... не стоматолог?

– Нет. – Он отвел глаза. – Пусть она тебя... так сказать... осмотрит.

– А мне требуется осмотр? – Джин не столько обиделась, сколько удивилась. Видимо, осмотр требовался всем. – И если обнаружится дефект, вернешь меня по месту приобретения?

– Нет-нет, милая, это совсем другое. – Он взял ее за руку. – Это... ну... Просто... для женщин обязательно. То есть с недавних пор это обязательно.

– Никогда не слышала, чтобы женщин возили в Лондон на осмотр. – Джин всерьез рассердилась. – Как, интересно знать, обходилась пригородная публика, пока не было железных дорог?

– Это не то, что ты подумала, милая моя, то есть не только это. Ну... еще по поводу детишек и прочего.

Теперь настал ее черед отвести глаза. Господи, подумала она. Разве не на мужчине лежит вся ответственность? Разве не это подразумевалось под «ответственностью» в той книге? Внезапно ей в голову полезли другие слова. «Эрегированный», и «трещина в лютне», и «увлажненный слизью». Вся эта тема казалась совершенно кошмарной.

– А разве мы не можем быть просто друзьями? – спросила она.

– Мы *уже* друзья. Потому мы и женимся. В браке мы останемся друзьями, но будем... женаты. Вот и все.

– Я поняла.

На самом деле она ничего не поняла. Ей стало дурно.

– А если я окажусь с дефектом, ты отвезешь меня подышать горным воздухом? – спросила она.

– Сразу же, как только позволит рядовой Гитлер, – пообещал он. – Как только позволит рядовой Гитлер.

Из доктора Хедли получился бы замечательный стоматолог, подумала Джин. Оживленная и компетентная, разносторонняя и красноречивая, приветливая и жутко страхолюдная. На ней был белый халат, накинутый поверх костюма, похожего на офицерскую форму. Усадив Джин на кушетку, она принялась заговаривать ей зубы досужей болтовней о Лондонском блице.

Джин сочла эту методику неуместной и внезапно напомнила:

– Я пришла на осмотр.

– Ну разумеется. Осмотр у нас будет сегодня, а примерка – на следующей неделе. Я убедилась, что девочки в большинстве своем обычно не торопятся.

– Понимаю.

Какая еще примерка? Боже!

Тут доктор Хедли начала задавать вопросы про Джин и Майкла, и некоторые из них, на первый взгляд, совершенно не относились к делу.

– А что ты знаешь о половом акте? Скажи откровенно.

Джин упомянула книгу в бордовом тканевом переплете, написанную женщиной, чья пьеса про страусов начиналась с возбуждения и сохраняла его до конца.

– Прекрасно. Стало быть, ты уже знаешь почти все. У девушки за душой всегда должна быть начитанность. И что ты думаешь о половом акте – ну, обобщенно?

К этому моменту Джин уже чувствовала себя увереннее. Шокировать доктора Хедли не представлялось возможным. Волосы у нее были зачесаны кверху и стянуты в аккуратный, но кособокий узел. Джин узрела в нем сходство с деревенским караваем.

– По-моему, в нем есть что-то курьезное.

– Курьезное? Ты хочешь сказать – странное. Поначалу так бывает. Но к этому привыкаешь.

– Да нет, курьезное. Комичное. Смешное, «ха-ха-ха».

Возбужденное, подумала она; трещина в лютне; лаванда; Екатерина Арагонская. И позволила себе хихикнуть.

– Вот комичным, девочка моя, он не бывает. – Боже, началось... – Он в высшей степени серьезен. Он прекрасен, порой непросто, однако *ничего смешного* в нем нет. Понимаешь? – Джин кивнула, краснея за свою оплошность, но поняла разве что наполовину. – А теперь ступай за ширму и снимай всю одежду ниже пояса.

Джин, как пришибленная, повиновалась. Не знала только, как поступить с обувью. Туфли – это одежда или нет? Может, их как раз лучше надеть? О господи. Ну кто тянул ее за язык: мол, секс – это смешно. Естественно, он может оказаться совсем другим. Надо думать, «периодичность повторений» ее удивит; надо думать, никакой горный воздух ей не понадобится. Как она ни старалась, все ее мысли заикливались на пенисе Майкла. Собственно, не на пенисе как таковом (его она до сих пор не видела и даже не представляла), а на идее пениса. О том, как он соединит их тела, подобно секс-дефису.

Она вышла из-за ширмы. Ей было велено лечь, а потом... Господи. Как мустанги по мне проскакали, подумалось ей. Молчание угнетало. «Орел – это будет к венчанью...» – промурлыкала она. Потом смущенно умолкла. Наверное, доктор Хедли не одобряла мурлыканья, даже если куплет оказывался уместным.

– Может возникнуть легкое ощущение холода.

Джин напряглась. Ее окатят холодной водой в наказание за легкомысленную песенку? Но нет, это оказалось... она прекратила думать о себе ниже пояса. Веки у нее сомкнулись, как плотно задернутые светомаскировочные шторы, но сквозь них пробивалось красное свечение внешней жизни. Черное с красным – цвета войны: цвета войны Томми Проссера. Томми Проссер в своем черном «харрикейне» со сдвинутым фонарем, а красные отблески приборной доски мягко освещают его лицо и руки. Томми Проссер из своего черного «харрикейна» высматривает красные выхлопы бомбардировщиков, возвращающихся на свои базы. Черное и красное...

– Детская – это прекрасная задумка, игровая комната тоже возражений не вызывает, – ни с того ни с сего высказалась доктор Хедли.

– Вот и хорошо.

К чему она клонит? Доктор Хедли выдвинула ящик и достала три круглые жестянки, помеченные номерами. Две, что побольше, она убрала с шутливым «Не будем гнать лошадей», а третью открыла. Из-под отвинчивающейся крышки вырвалось облачко талька.

– Сейчас я просто покажу, как этим пользоваться, а в следующий раз попробуешь сама.

Доктор Хедли извлекла из жестянки колпачок и щелчком стряхнула с него тальк.

– Очень просто, видишь? Вот тут пружинка, – она сжала колпачок в узкую восьмерку, – гибкая, прочная, абсолютно безопасная, если правильно вставить. Можешь убедиться.

Джин взяла колпачок. С виду огромный. И в какое место его помещают? Не иначе как оборачивают им, как дождевиком, секс-дефис и закрепляют тесемкой. Она попыталась сжать ободок. Он вроде бы не поддавался. Тогда она опустила колпачок на лежавшую перед ней салфетку и попробовала еще раз. Ободок подчинился, и ей в ладонь ударил эластичный черный купол. Она взвизгнула.

– К этому быстро привыкаешь.

Джин усомнилась. Ради Майкла она, конечно, была готова на все; но разве нельзя остаться просто друзьями?

– А вот это – гель-смазка.

В руке доктора Хедли откуда ни возьмись появился тюбик. О господи. А как же «увлажненный слизью»?

– Нет, не... а это... обязательно?

Оставив ее вопрос без ответа, доктор Хедли усмехнулась.

– Вы же сами сказали, что в этом нет ничего смешного. – Джин обозлилась на эту женщину, к которой ее заманили.

– Так и есть, но смеялась я не над этим. А над тобой. Вы, девочки, вечно хотите всего сразу: чтобы одни удовольствия – и никакой ответственности.

При слове «ответственность» докторша принялась наносить гель на ободок колпачка, а затем и на мягкую вогнутую резину. После этой краткой наглядной демонстрации она передала колпачок Джин.

– Нет, держи крепко, он не кусается. Нет, еще крепче. Между большим пальцем и остальными, между большим и остальными; неужели тебе не доводилось играть с перчаточными куклами?

Опасаясь выронить колпачок, Джин вернула его на стол. На первый раз с нее было вполне достаточно.

В ожидании поезда на Паддингтонском вокзале Джин заметила громоздкий, выкрашенный зеленой краской аппарат с большим циферблатом. Только вместо цифр на нем значились буквы алфавита. Крутишь стрелку – и за один пенни можешь набрать на узкой металлической полоске до пятнадцати букв. Выщербленная эмалированная табличка призывала желающих передавать приветы знакомым. Джин была не уверена, что это понадобится. Ей не хватало уверенности даже для жалости к себе; ее лишь изводила неприкаянность. Она стала послушно крутить металлическую стрелку от буквы к букве и, нажимая на рычажок, ухитрилась набрать *ДЖИН*, а потом и *САРДЖЕНТ*. В запасе оставались еще три буквы. Папа, хотя и осуждал такие легкомысленные расходы, наверняка захотел бы убедиться, что тут она не переплатила. Фамилия, звание, личный номер – таков ведь порядок? Звания у Джин не было, личного номера тоже. После недолгого раздумья она набрала XXX, извлекла свою металлическую полоску из боковой прорези и спрятала в сумочку.

* * *

Джин предполагала – чисто интуитивно – что за последний год с Томми Проссером нечто произошло: нечто особенное, но узнаваемое. До этого он был отважным пилотом «харрикейна», а теперь, отстраненный от полетов, сделался раздражительным и опасливым. От нее требовалось не так уж много: найти источник этого страха, дать возможность человеку выговориться о каком-то жутком, травмирующем испытании, выпавшем на его долю, – и он пойдет на поправку. В таких пределах Джин была знакома с основами психоанализа.

Как-то раз она сидела на кухне с банкой чистящей пасты и шеренгой вилок. Проссер говорил мягче обычного. Для начала он завел речь про 1940 год, но так, будто вспоминал Монс или Ипр – далекое прошлое, которое не коснулось его напрямую.

– Мой первый самостоятельный вылет был – суший мюзик-холл. Над Северным морем мне повстречалась парочка «мессеров». Расклад был не в мою пользу, а потому я ушел за облако, чуток покрутился и повернул на базу. На полной скорости. А когда требуется скорость, нужно пикировать, вот и все. Так я и сделал, а тут откуда ни возьмись пулеметы. Стало быть, один из тех сто девяти пикировал за мной. Ну, я – штурвал от себя и быстрее молнии заложил крутой вираж. Осмотрелся как следует, но ничего не увидел. Не иначе как оторвался. Ну, сам опять носом вниз – и на базу. Набираю скорость. И тут – угадайте что? – опять пулеметы. Я – штурвал на себя, и очереди смолкают. Резко набираю высоту, присматриваю себе облако, и тут до меня доходит. Я же в пике наверняка сжимал ручку все крепче да крепче. А гашетка – то на ручке сверху, вот ведь какое дело. И значит, очереди пускал я сам и самого себя напугал до помрачения рассудка. Метался в небе как последний дурак.

Джин улыбнулась:

– А когда вернулись, рассказали своим?

– Нет. Вначале помалкивал. А потом кто-то признался, что выкинул номер еще чище. Но тогда все подумали, что я привираю.

– А летчики всегда признаются в своих ошибках?

– Еще чего!

– И в чем у вас в полку не признавались?

– В чем мы не признавались? Да как обычно. Что струсил. Что боялись подвести парней. Что страшилось не вернуться. Поймите: если кто-то думает, что не вернется, этого не скрывать. Сидишь в ожидании вылета и замечаешь, что кто-то вдруг стал очень вежлив. То есть реально вежлив, без всякой видимой причины. И тут ты припоминаешь, что он уже не первый день таков: за столом сахар к тебе придвинет, говорит тихо, никого не задирает. А сам все время думает, что пути назад ему нет. И хочет запомниться классным парнем. Но за собой, естественно, ничего не замечает.

– А с вами такое бывало?

– Откуда я знаю? Со стороны ведь себя не видишь. Может, чем-то и выдавал себя. Мелочью в кармане побрякивал, допустим.

– То есть летчикам запрещено признаваться, что им страшно?

– Само собой. Это последнее дело. Даже если знаешь, что ребята видят твое состояние.

– Можно вопрос?

– Вы уже без спросу спросили, верно? – Проссер сверкнул мимолетной улыбкой, будто говоря: «Да, сегодня у меня настроение лучше».

Джин опустила глаза, словно ее поймали на бряканье мелочью.

– Валяйте, спрашивайте.

– Вот я все думаю: как это – быть храбрым?

– Быть *храбрым*? – Такого вопроса он не ожидал. – А вам зачем?

– Ну, интересно. То есть, если, к примеру...

– Да нет... это... трудно объяснить. В смысле – бывает по-разному. Сделаешь что-нибудь обыкновенное, а парням кажется, что ты проявил храбрость; или наоборот, думаешь, что показал себя с лучшей стороны, а они – молчок.

– И кто же в итоге решает, что такое храбрость? Другие или ты сам?

– Не знаю. Наверно, отчасти ты сам, а они, когда дело доходит до фанфар... ну и так далее. Поймите: обычно над этим вообще не задумываешься.

– Это вы скромничаете.

Джин, конечно, заметила ленточки на форме Восхода Проссера. А их почему зря не раздают.

– Нет-нет. Отнюдь. Ну, то есть ты ведь не планируешь загодя: «Покажу-ка я себя храбрым», чтобы после откинуться на спинку кресла и подумать: «Черт побери: храбрости мне не занимать».

– Но вам же надо принимать решения. Если видишь, что кому-то пришлось туго, то, наверное, говоришь: «Сейчас приду на помощь».

– Вовсе нет. Говоришь что-нибудь нецензурное. А потом ввязываешься в бой. На гражданке решения принимаются иначе. А тут раз – и вперед. Иногда ситуация попроще, у тебя есть время подумать, но думаешь ты так, как тебя учили думать в таких обстоятельствах, а сам порой как в тумане, словно под хмельком, но в основном – раз-два и готово.

– Вот как.

– Простите, если разочаровал. У других, возможно, это по-другому. Но я не могу объяснить, что такое храбрость. В руки ведь ее не возьмешь, чтоб разглядеть поближе. Когда храбрость рядом, ты ее не ощущаешь. Волнения нет, головокружения тоже, и вообще... Ну, может, чувствуется нечто большее: дескать, я знаю, что делаю, но не более того. И говорить о храбрости не получается. Будто ее нет вовсе. – Проссер словно начал слегка распляться. – Она же не

подчиняется разуму, так ведь? *Разумно* было бы перетрусить так, что штаны потеряешь. Вот это *разумная* реакция.

– А здесь другое? То есть испугаться можно, когда есть что терять?

– А! Страх. Да, это другое. – Он успокоился, пожалуй, так же быстро, как распалился. – Совсем другое. Вы и про это хотите узнать?

– Да, если можно. – Джин внезапно осознала, насколько разговор с Проссером отличается от разговоров с Майклом. С одной стороны, труднее, но...

– Пункт первый: когда страшно, ты это понимаешь. Пункт второй: то же самое бывает со всеми. Пункт третий: ты сознаешь, что страх – и ничто другое – заставляет тебя делать именно то, что ты делаешь.

– А что он заставляет делать?

– Да все. Поначалу не так уж много. Чуть дольше смотришься в зеркало. Летишь чуть выше или чуть ниже, чем нужно. Печешься о безопасности. Выходишь из боя чуть раньше, чем прежде. Раз-другой огрызнешься в столовой. Находишь больше неполадок в самолете. Из-за таких мелочей возвращаешься на базу раньше или нарушаешь строй. А потом наступает время, когда ты сам начинаешь все это за собой замечать. Наверно, потому, что видишь, как это замечают другие. Возвращаешься – механики тут как тут: ты еще из кабины не вылез, а они уже проверяют, стреляли пулеметы или нет. И если пару раз подряд стрельба не велась, тебе кажется, будто они что-то бормочут. И тебе вечно чудится одно и то же слово. *Трус*. Трус. И ты думаешь: я не позволю, чтобы меня обзывали трусом, и вот уже ты отрываешься от своего звена, забираешься в облако и даешь очередь за очередью. И если продолжать, расстреляешь весь боекомплект, и останется только вернуться на базу. И, приземлившись, ты показываешь механикам большой палец и говоришь им, что почти наверняка вмазал «хейнкелю» – он сильно дымил, и хотя ты не видел, как он падал, но уверен, что враги, если они и дотянули до Германии, то на честном слове – и вот парни уже кричат тебе «ура», и ты сам уже наполовину поверил, и задумываешься: упомянуть это на разборе полетов или смолчать, но тут понимаешь, что смолчать нельзя: ты перед своими механиками перья распускал, а разведке не доложил – а вдруг кто-нибудь прознает? Ну, докладываешь – и оглянуться не успеешь, как оказывается, что ты уже сбил к чертовой матери все машины люфтваффе, которые прятались в облаках, где ты расстрелял свой боекомплект.

– И вы так поступали?

– Этим кончилось, когда меня вторично отстранили от полетов. В первый раз тоже намечались кое-какие признаки, но у меня уверенности не было, и у них тоже, так что на всяких случай отстранили меня на пару дней. Но понимание пришло во второй раз. Тогда я понял, что представлял собой в первый раз.

– Наверно, вначале у вас просто сдали нервы.

– Вот именно. Нервы, испуг, боязнь, трусость – именно так. Знаете, как говорится: кто обжегся дважды, тому конец.

Джин вспомнила, что он примерно так и сказал, когда она спросила его мнения о браке с Майклом.

– Ну, это бабушкины сказки, я уверена.

– А бабушки много чего знают. – Он усмехнулся. – Хотя бы мою спросите.

– Расскажите, как это – испугаться?

– Я же говорил. Сбежать. Струсить.

– Но как это ощущается внутри?

Проссер задумался. Он твердо знал ответ. Ему это снилось раз за разом.

– Ну, в чем-то – ничего особенного. Дрожь в руках, сухость во рту, в мозгах напряжение – перед вылетом даже крепкие нервы так себя проявляют. Обычно. А иногда – нет. Пока ждешь, ощущаешь какие-то мелкие признаки, а взлетел – и они исчезают, однако могут снова возник-

нуть перед боем, но, когда идешь на сближение, опять исчезают. Но если ты благополучно вернулся, такие проявления порой не отступают, и это уже скверно. Вот тогда-то приходит страх.

Он помолчал, глядя на Джин. Она не отвела взгляда, и он продолжил:

– Вот представьте: вы проглотили какую-нибудь кислятину, вроде уксуса. Вообразите, что вкус ее ощущается не только во рту, но и дальше. Сперва во рту, потом в глотке, в груди, в желудке. А теперь представьте, как она медленно-медленно застывает между грудиной и горлом. Мало-помалу застывает. Уксусная каша – везде. Кислятина – во рту. Сырость и дряблость – в желудке. Каша застывает между горлом и грудью. Это значит, что ты не можешь доверять своему голосу. И вот иногда ты убеждаешь себя, что передатчик вышел из строя, а иногда убеждаешь себя, что связь прервана. Стиснешь губы, а кислота стоит у тебя в горле. Половина твоего тела пропитана этой тошнотворной кислятиной, и, поскольку ты все время чувствуешь ее вкус, тебе кажется, будто можно сунуть палец в горло – и от нее избавиться. Но нет, не получается. И она остается с тобой – холодная, кислая, застывающая, и ты понимаешь, что она никуда не денется. Никогда. Потому что ей там самое место.

– Возможно, это когда-нибудь пройдет, – сказала Джин, чувствуя фальшивое бодрячество собственного голоса: она как будто уверяла инвалида, что ампутированные ноги вот-вот отрастут и все станет как прежде.

– Обжегся дважды, – приглушенно выговорил он.

– А я уверена, что вы вернетесь, – продолжала она все тем же голосом больничной санитарки. – И будете опять браконьерствовать над аэродромами и все такое... И вообще.

– Это осталось позади, – сказал Проссер. – В том времени, когда все, куда ни кинь, занимались вязанием из шерсти цвета хаки – для фронта. Помните?

– Мое вязанье у меня сохранилось. Я его так и не закончила.

– Ну да. Вязанье цвета хаки. Возненавидь гуннов. Отрази врага. Все тебе по сердцу, чисто, ты счастлив. Допускаешь, что когда-нибудь умрешь, только это не кажется таким уж важным, и ты не размышляешь, надолго ли все это затянется, ну и вообще. И в любом случае все для тебя внове. И некоторые из тех дней словно бы стали лучшими днями твоей жизни.

– Например, когда виделось, как солнце восходит дважды.

– Например, когда виделось, как солнце восходит дважды. Когда сопровождал бомбардировщики через Ла-Манш к их цели и добрался до нее. И группа встречающих приветствует тебя фонтанами грязи, а ты только смотришь – зеленое, и желтое, и красное висит в воздухе, – и ты не думаешь, что тебя могут прикончить, а думаешь: это же точь-в-точь как бумажные ленты на танцуйке субботним вечером. А теперь все по-другому. Ведь держаться так до бесконечности невозможно.

– И теперь у вас нет такой, как раньше, ненависти к немцам? – Джин решила, что они в чем-то достигли согласия. Может быть, храбрость рождается из ненависти или хотя бы подпитывается ею. А этот Восход просто растратил свою ненависть, вот и все. Ничего зазорного в этом нет, совсем наоборот.

– Ненавижу я их так же зверски. Точно так же. Может, по другим причинам, но точно так же.

– Ох. Там что-то случилось? Что-то жуткое? Что лишило вас храбрости?

Проссер старательно заулыбался, будто и вправду хотел по возможности все для нее упростить. Но не смог.

– Извините. Совсем не так. Юноша за одну ночь превращается в мужчину. Мужчина становится героем. Герой дает трещину. Прибывают новые юноши, выковываются новые герои. – Он словно бы поддразнивал ее, как никто и никогда. – Со мной – не так. Я не дал трещину. Во всяком случае, в общепринятом смысле. Просто через какое-то время все сходит на нет. Запасы истощаются. И ничего не остается. Тебе говорят: надо отдохнуть, подзарядить аккумуляторы. Но не все аккумуляторы подзаряжаются. По крайней мере, нынче.

- Не будьте пессимистом, – сказала она, хотя этот бодряческий тон не убеждал даже ее саму. – Вы же по-прежнему любите летать, правда?
- Я все еще люблю летать.
- И все еще ненавидите немцев?
- И все еще ненавижу немцев.
- Ну, выходит так, мистер Проссер?
- Ну, выходит, так, без-пяти-минут-миссис Майкл Кертис; боюсь, вы не слышали того, что требовалось доказать.
- Мм... Но *я уверена*. Просто знаю это. Подумайте о восходах солнца.
- Ну, – сказал Проссер, – я вовсе не уверен, что мне это нужно. Кто видит, как солнце восходит дважды, тот и обжигается дважды. Сдается мне, это справедливо. По чесноку. Так, пожалуй, проще всего соскочить.
- Нет, пожалуйста, не привыкайте к этому.
- Шучу.

* * *

На следующей неделе Джин снова отправилась к доктору Хедли. Она обещала себе не выискивать ничего смешного. Хотя вряд ли у нее возник бы такой соблазн.

Вновь появилась круглая жестянка, и поднялось облачко талька, и было показано, как наносить гель, и снова Джин подумала: «Смазывается слизью?» Наверно, это и есть тюбик геля-слизи. Потом ее перевернули вверх тормашками, словно она выбрала не тот ярмарочный аттракцион, и приказали расслабиться. Она расслабилась, воспарив над тем, что с ней проделывали, а потом и вовсе улетела. Оказалась в черном «харрикейне», а мимо проносились облака. Восход Проссер добился, чтобы его кабину оснастили плетеным сиденьем, и взял ее в полет. Полет, сказал он, способен излечить не только коклюш. И обещал показать ей свой фокус. У дяди Лесли был шикарный фокус с сигаретой, но у Проссера еще лучше – с солнцем. Так, поехали, смотри вот туда через мое плечо, за черное крыло, следи, как оно встает, следи, как оно встает. А теперь снижаемся, снижаемся еще на десять тысяч футов и ждем... Гляди в оба: солнце всходит опять. Вершится обыкновенное чудо. Повторить? Ну нет, разве что тебе захочется в гости к подводникам.

– Теперь попробуй сама.

Расслабленность облегчила доктору Хедли объяснения и демонстрацию. Беда лишь в том, что Джин ее не услышала – ни единого слова. Теперь, неуверенно держа скользкий колпачок, сжимая его в восьмерку и пробуя вводить в себя неведомо под каким углом, она сосредоточилась и напряглась. Доктор Хедли, примостившись на скамеечке и сжимая ее запястья, пыталась подсказать ей направление. Пора с этим завязывать, подумала Джин и нажала посильнее. Ох. Ох.

– Да нет же, не так, глупенькая. Смотри, что ты наделала. Ну ничего, просто чуток здоровой крови.

Доктор Хедли пустила в ход полотенце и теплую воду. А через некоторое время спросила:

– Продолжим?

Джин опять ускользнула в ясную безоблачную зарю над Ла-Маншем, и голос доктора Хедли зазвучал, словно из репродуктора. Вот этой стороной кверху, складываем восьмеркой, находим шейку матки, ободок прилегает плотно, удобно, а затем... пальчик согнули, потянули...

Инструктаж – как для какого-то воздушного маневра. Благодаря этому манипуляция казалась не слишком унижительной и вроде как отстраненной.

– Возможно, будет еще немножко кровить, – предупредила доктор Хедли.

И напоследок Джин получила завершающие инструкции по использованию колпачка. В какой момент надевать, через какой промежуток времени извлекать, как за ним ухаживать: мыть, обсушивать, присыпать тальком и убирать в жестянку до следующего раза. Ей вспомнился отец, заядлый курильщик трубки: он, как могло показаться, тратил куда больше времени на то, чтобы прочищать трубку, набивать чашу и приминать табак, чем на само курение. Впрочем, не исключено, что все удовольствия таковы.

В затемненном поезде отправлением с Паддингтона Джин призадумалась, не лишилась ли она девственности. Да или нет? По ощущениям – да... точнее, она воображала, что потеря девственности естественным путем произошла бы именно так. Она чувствовала, что ее взорвали, она чувствовала, что над ней надругались. «Трещина в лютне»... она не понимала, что это означает, но, похоже, то самое. У нее в сумке лежал небольшой картонный футлярчик; она даже не знала, как его определить. Защитник или агрессор? Защитник на службе агрессора, вроде Майкла? Какому экземпляру досталась ее девственность – уже знакомому или его близнецу из той же фабричной партии? Может, она – дуреха или просто драматизирует ситуацию? Как бы то ни было, она пошла на это ради Майкла. Ведь могло быть и хуже. Нынче сплошь и рядом случается кое-что похуже, и почти всегда – при участии мужчин. А тебе пришлось обойтись своими силами, разве нет?

Ее страшил футлярчик в сумке; из-за него контролер на вокзале мерещился ей таможенником. Запрещенные к вывозу предметы имеются, любезная? Нет, мне даже декларировать нечего. Всего-то один взрыватель. Одна треснувшая лютня. Один предмет нижнего белья, слегка замаранный кровью.

Доктор Хедли и этот футляр превратили все в определенность и неизбежность. Но эта определенность не принесла ей уверенности. Она поймала себя на том, что вовсе не жаждет лечь в постель с Майклом. Конечно, она его любит; конечно, все пройдет гладко; конечно, он в этом деле разбирается досконально, а инстинкт компенсирует любую взаимную неопытность. Все будет красиво и даже, быть может, духовно, по утверждению некоторых; но, как ни прискорбно, кое-какие детали имеют сугубо практическое значение. А вдруг эта практическая сторона повлияет на ее реакции? Вдруг этот футляр исказит ее Периодичность Повторяемости?

По возвращении домой Джин сама себя удивила, в очередной раз взявшись за бордовую книжицу миссис Барретт. Она обратилась к разделу, озаглавленному «Основной ритм», твердо решив на сей раз отбросить шутки в сторону и выяснить, каким должно быть обещанное действие. Некоторые, прочла она, воспринимают его как совокупность простых толчков, однако все намного сложнее. «Все мы, – разъясняла автор „Наших страусов“, – когда-нибудь наблюдали, как морская зыбь регулярно набегает на песчаную косу, и замечали, что накат следующего притока воды может создать другую систему ряби под прямым углом к первой, в поперечном направлении, причем два этих наката перекрещиваются, проходя один сквозь другой».

Джин, которая никогда не бывала на море, попыталась вообразить рисунок перекрестной ряби. Она услышала сдавленные крики чаек и увидела гладкий, нетронутый песок. Все это представлялось весьма приятным. Весьма приятным, но не слишком важным. Или попросту смехотворным?

Дядя Лесли на свадьбе не присутствовал. Дядя Лесли смылся. Зато присутствовали родители Джин, равно как и высоченная, длинноносая мать жениха, которая держалась то ли смущенно, то ли пренебрежительно – Джин так и не разобралась; был еще полицейский – приятель Майкла, он же шафер, который шепнул ей перед венчанием: «А не сбежать ли нам, пока не поздно?» (Джин сочла такой треп неуместным). И наконец, двоюродный брат Майкла, специально приехавший из Уэльса. Одно небольшое семейство породнилось с другим – семеро участников, почти незнакомых друг другу и не сумевших решить вопрос об уместности бракосочетания во время войны. Дядя Лесли отmel бы такие тонкости, чтобы настоять на общем веселье; произнес бы спич или показал фокусы. Возможно, ей особенно не хватало присутствия

дядюшки: ведь она в детские годы планировала выйти за него замуж. Его отсутствие выглядело двойным дезертирством. Но ведь дядя Лесли сбежал не без причины. Во всяком случае, так истолковал события отец невесты. Дядя Лесли, прожив в Англии всю свою жизнь, поспешил отбыть первым же пароходом в Нью-Йорк, как только Чемберлен вернулся из Мюнхена. В письме из Балтимора, которое вызвало у родни бурные дебаты, Лесли сообщал следующее: Чемберлен обещал стране мир на все времена; и он, Лесли, понимая, что годы уходят, решил безотлагательно повидать мир; вскоре после его прибытия в Америку совершенно неожиданно вспыхнула война; он (уже) староват для действительной службы; нет ни малейшего смысла пускаться в обратный путь через Атлантику, чтобы только пополнить собою число голодных ртов; целесообразнее всего ему устроиться на работу за океаном, чтобы отправлять домой продовольственные посылки; и конечно, если янки окажутся втянутыми в эту заваруху, он пойдет добровольцем в американскую армию – естественно, при условии, что будет признан годным к строевой.

Папа изложил эти факты маме несколько иначе: я всегда знал, что твой братец – редкостный прохиндей; пусть не брешет, что он слишком стар для действительной службы; кто мешал ему вступить здесь в ополчение или в противопожарный отряд, а то и устроиться на завод, да только этот оболтус никогда не любил марать руки и не поднимал ничего тяжелее... ложки; а если он обещает нам продовольственные посылки, то лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза... что нам прислали сегодня к ужину, мать – кусочек пирога с запеченной совестью да ломтик пудинга из остатков чести: ну, ничего, проглотим и эту дрянь, покуда она совсем не протухла, но что он имеет в виду, посулив нашей Джин, только-только обрезавшей косу, «соблазнительное белье»? Я не потерплю, чтобы моя дочь такое нацепила, когда над нами кружат бомбардировщики, это непристойно, а если он пойдет добровольцем в американскую армию, то я переплыву Северное море; быть может, наш Герой Стратосферы (справа от меня) запросит добавки пирога с совестью, пусть уже забродившей, но не выбрасывать же такое добро в помойку.

В первые два года войны их семья съела немало пирогов с совестью. Белье папа сразу конфисковал, однако вернул его Джин, когда та вышла замуж. Это был единственный свадебный подарок от дяди Лесли. Она сообщила ему свою новость, но он не ответил. Затаился до конца войны. Папины догадки о причинах его молчания мама не всегда выслушивала благодушно.

Выходя замуж, Джин имела следующие навыки:

- застилать кровать, подгибая уголки по больничному образцу;
- шить, латать и вязать;
- готовить три вида пудинга;
- разводить огонь и чернить решетку;
- возвращать блеск старым пенни, выдерживая их в уксусе;
- гладить мужские сорочки;
- заплетать косу;
- вставлять колпачок;
- заготавливать фруктовую настойку и варить варенье;
- улыбаться, когда улыбаться невмоготу.

Она гордилась этими достижениями, хотя и не считала их таким уж богатым приданым. Например, ей было бы очень приятно, умеет она:

- танцевать вальс, квикстеп и польку, хотя до сих пор от нее этого практически не требовалось;
- бегать, не скреживая по привычке руки на груди;
- знать наперед, окажутся ли ее реплики глупыми или умными;
- предсказывать погоду по водорослям, подвешенным за окном;

разбираться, почему куры перестали нестись;
распознавать, когда над ней насмеются;
не отказываться и не смущаться, когда ей подадут пальто;
задавать правильные вопросы.

Майкл раздобыл немного бензина, и на медовый месяц они поехали в Нью-Форест, где имелся постоянный двор с пивной и с парой комнат на втором этаже. Они отправились туда под вечер в субботу; на подъезде к Бейсингстоку начало смеркаться, и по причине затемнения им пришлось продолжать путь в тусклом свете подфарников. Джин могла только гадать, хорошо ли Майкл видит в потемках – он ведь не прошел такую подготовку, как Проссер. Ей стало страшно: она вспомнила, что в первые месяцы войны на дорогах погибло больше людей, чем от рук врагов. Она даже положила ладонь на локоть мужа, но он, видимо, истолковал это по-своему и прибавил скорость. Когда они поднялись в свой номер, Джин была пришиблена размерами кровати – огромной, угрожающей, живой. Эта лежанка нашептывала невесте что, высмеивала и пугала одновременно. Снизу, из пивной, время от времени доносились приглушенные разговоры. Уткнувшись в мужское плечо, Джин спросила:

– Можно, на эту ночь мы останемся друзьями?

Пауза; рука Майкла, обнимавшая ее за шею, едва ощутимо напряглась. Потом он ответил:

– Конечно. Поездка была долгой.

Он слегка погладил ее по голове, по волосам, а затем пошел умываться. За ужином он был весел и непринужден; позвонил своей матери и попросил ее сообщить Сарджентам, что молодые благополучно прибыли к месту назначения. Джин предпочла бы сама поговорить с родной матерью – пройти предполетный инструктаж, но Майкл, разумеется, все сделал правильно. Она его очень любила, сказала ему об этом, а затем попросила разрешения лечь, пока он будет в душевой, и погасить свет. Застыв между простынями, от которых пахло утюгом, она гадала, что будет дальше. За окном стояла безоблачная ночь, в небе осветительной ракетой сияла полная летняя луна – так называется луна бомбардировщика.

Наутро они пошли гулять, чтобы зря не расходовать бензин даже во время медового месяца, потом вернулись перекусить, еще погуляли до вечера, умылись и переоделись; а когда спускались к ужину, Джин попросила:

– Можно, сегодня ночью мы останемся друзьями?

– Если так будет продолжаться, я возьму тебя силой, – улыбнулся он.

– Этого я и боюсь.

– Ну, сегодня ты должна позволить мне тебя целовать. Хотя бы без вольностей.

– Хорошо.

– И при свете.

На третий вечер Джин сказала:

– Может быть, завтра.

– *Может быть?* Побойся Бога: прошла чуть ли не половина медового месяца, будь он неладен. Лучше б мы в поход отправились.

Густо покраснев, он уставился на нее. Она испугалась – и не только потому, что муж сердился, но еще и потому, что он мог рассердиться еще сильнее. А про себя подумала: в поход – это же одно удовольствие.

– Хорошо, завтра.

Но к вечеру следующего дня у нее начались желудочные колики – пришлось отложить. Она чувствовала, что Майкл кипит от злости. Где-то она слышала, что мужчины больше женщин нуждаются в физической разрядке. Что бывает, если им отказывают? Они лопаются, как автомобильные радиаторы? На пятый вечер они почти не разговаривали за ужином. Майкл заказал коньяк. Внезапно Джин шепнула:

– Поднимайся через двадцать минут.

Захватив футляр, она прошла по коридору в душевую. Легла на пол, закинула пятки на край раковины и попыталась ввести колпачок. С ее мышцами творилось что-то неладное. На миг она задумалась: не стоит ли включить свет и предаться мыслям о Проссере в его черном «харрикейне», с красными отблесками на лице и руках – вдруг это поможет ей расслабиться? Но она знала, что это будет неправильно. А потому попробовала присесть на корточки и доби-лась небольших первоначальных успехов, но колпачок выскочил из нее и оставил пятно на коврике. Задрав ноги, она сделала следующую попытку; теперь ей стало больно. Промыв этого каучукового монстра, она обсушила его и посыпала тальком, прежде чем вернуть в футляр.

Лежа в постели, она прислушивалась к рокоту голосов, доносившихся снизу, из бара. Майкл задерживался сверх всякой меры. Не иначе как заказал еще коньяку. Ну, или сбежал с какой-нибудь шлюшкой, которой все нипочем.

Он даже не пошел в душ, а просто стоял в темноте и раздевался; по тем шорохам, которые долетали до ее слуха, Джин старалась угадать, какой предмет расстегивается и снимается в данный момент. Заслышав, как скрипнул ящик комода, она вообразила, что Майкл надевает пижаму. Из бара снизу донесся всплеск гомона. Забравшись под одеяло, Майкл чмокнул ее в щеку, задрал на ней фланелевую ночную сорочку, навалился сверху и потянул только что завязанный шнур пижамных штанов. «Секс-дефис», внезапно мелькнуло у нее в голове.

Смазочный гель придавал ей эрзац-влажность, и это, видимо, польстило Майклу. Немного повозившись, он проник в нее с куда большей легкостью, чем предвидели они оба. Но все равно было больно. Джин лежала и ждала от него каких-нибудь слов. Но он уже стал елозить у нее внутри, и она очень вежливо прошептала:

– К сожалению, дорогой мой, я не сумела вставить свою штучку.

– Мм, – сказал он чужим, ничего не выражающим голосом, как на работе. – Мм. – Но, вопреки ее ожиданиям, без раздражения и досады.

Он просто начал вторгаться в нее более напористо, и в то мгновение, когда его натиск поверг ее в панику, издал пронзительный стон через нос, резко высвободился и спустил струю ей на живот. Такого она не ожидала. Словно кого-то, отстраненно подумалось ей, на тебя вырвало.

Стоило ему немного сдвинуться в сторону, как Джин сказала:

– Я вся мокрая. Ты меня всю извозил.

– Тебе кажется: на самом деле там не так уж много, – сказал он. – Это обычное дело – как с кровью.

Они оба умолкли от этого высказывания: не только от его смыслов, но и от упоминания крови. Майкл слегка отдувался. На Джин веяло коньяком. Снизу доносился пьяный гомон, как будто на Земле все шло своим чередом. Она лежала в темноте, и все мысли ее были заняты кровью. Черное и красное, черное и красное – цвета вселенной Проссера. А если вдуматься, то, быть может, единственные цвета во всем мире.

– Сейчас достану тебе носовой платок, – после паузы сказал Майкл.

– Только свет не зажигай.

– Нет-нет.

Скрипнул какой-то ящик, и Майкл протянул ей носовой платок. Она расстелила его на животе и сделала несколько мягких круговых движений ладонью. Так дети показывают, что хотят есть. Но на нее-то сейчас кое-кого вытошнило. Решительно скомкав платок, она швырнула его на пол, одернула ночную сорочку и перекатилась на свою половину кровати.

Наутро, заслышав, что Майкл проснулся, она не стала открывать глаза. Он, уже одетый, насивывая, вернулся из душевой, потряс жену за плечо, дружески шлепнул по бедру и прошептал:

– Жду тебя внизу, дорогая.

Наверное, все обошлось. Она без промедления оделась и сбежала вниз. Да, как будто все прошло удачно, заключила она, потому как он без устали передавал ей ломтики тостов и подливал чаю. Возможно, он не нашел в ней дефекта; возможно, он от нее не откажется.

Наверное, она должна была как-то высказаться. В конце-то концов, ради этого самого и совершаются браки. Вечером, когда они переодевались к ужину, она дождалась, чтобы он повернулся к ней спиной, и собралась с духом.

– Ты прости, что вчера ночью так получилось.

Он не отвечал. Наверно, все еще сердился. Она сделала вторую попытку:

– Я уверена... я уверена, что в следующий раз...

Он обошел кровать и сел так, что оказался рядом с Джин и в то же время у нее за спиной. И прижал свой крупный палец к ее губам.

– Ш-ш-ш, – заговорил он. – Все хорошо. У тебя, естественно, нервы на пределе. Вплоть до нашего отъезда не буду больше тебе досаждать.

Это был совсем не тот ответ, какого она ждала. Да, сказано по-доброму, но как бы лишь для того, чтобы сменить тему. Она была просто обязана сделать новую попытку. В конце-то концов, им не пристало равняться на своих родителей: ее семья – из другого теста, а Майкл, по всей вероятности, получил воспитание в лондонских борделях. Она отстранила его палец от своих губ.

– В следующий раз у меня получится, – пообещала она и слегка содрогнулась – наверное, оттого, что Майкл слишком крепко сжал ее плечо.

– Тема закрыта, – непререкаемым тоном заявил он. – На сегодня хватит. Ты – еще куда ни шло.

Майкл взял в ладони ее лицо – приласкал, обдавая мыльным запахом. Одна ладонь заслонила верхнюю половину ее лица до кончика носа; другая накрыла рот и подбородок. В щель между двумя его неплотно сдвинутыми пальцами пробивался свет. Некоторое время он так и удерживал ее – в мягкой клетке своих рук.

За две последние ночи медового месяца он не потревожил ее не разу.

По возвращении они заняли две комнаты, которые отвела им поджарая мамаша Майкла в своем холодном квадратном доме. Первая неделя прошла неудачно. То она липкими пальцами мусолила колпачок, а Майкл допоздна беседовал с матерью; то она решала не утруждаться, а муж вонзался в нее, не давая опомниться. Она уходила в ванную, кое-как в панике приводила себя в порядок, а вернувшись в спальню, обнаруживала, что он спит... или притворяется спящим.

– Майкл, – окликнула она, когда это случилось во второй раз. – Майкл, что происходит?

– Ничего, – ответил он таким тоном, в котором слышалось: «Кое-что».

– Скажи мне. – (Ответа не было.) – Ну же. – (Ответа не было.) – Не заставляй меня гадать.

В конце концов он устало выдавил:

– Предполагается, что это должно происходить спонтанно.

– Боже.

Следующим вечером, немного выпив для храбрости, Майкл решил внести ясность. Если не возникает внезапного порыва, ничего хорошего не жди; за неимением лучшей или хоть какой-нибудь другой информации Джин согласилась: да, если все по шаблону, выходит плохо-вато. Это ведь тошнотворно, когда тебе, извини за выражение, уже приперло, а тебя еще десять минут мурыжат; она согласилась, мысленно побагровев и задаваясь вопросом: сколько же времени требуется другим женщинам? Затягивать эту канитель нестерпимо: нужно притираться, как противовесам в часах с кукушкой; она согласилась. Наверное, будет лучше – всего лишь для начала, всего лишь на первых порах – назначить определенные дни, когда она будет... вставлять свою штучку; нет, разумеется, это не может на сто процентов гарантировать... она согласилась. Сейчас, если хорошенько прикинуть, ему видится, что лучше всего подойдет суб-

бота, потому что в запасе будет воскресное утро – на тот случай, если накануне вечером он переутомится; ну и, может быть, еще среда, пока его рабочий график не изменится. Она согласилась; она согласилась. Суббота и среда, твердила она себе, по субботам и средам у нас все будет спонтанно.

Такой распорядок сработал неплохо. Она научилась получше управляться с футляром; Майкл не делал ей больно; она притерпелась к издаваемым им звукам – таким звукам, которые обычно ассоциируются с мелкими грызунами. В сексе, решила она, определенно есть нечто приятное: когда в тебя проникает секс-дефис мужа, когда, по твоим ощущениям, муж у тебя в объятиях превращается в ребенка.

И при этом у нее оставалось предостаточно времени для размышлений. В конце-то концов, сильнее всего она любила Майкла вовсе не в постели; она была бы только рада это изменить, но нет. А что до ощущений «ниже пояса», как доктор Хедли называла эту часть ее тела... где они, все эти накатывающие волны под прямым углом, которых ей было велено ожидать? Где хриплые крики морских птиц и чистый песок, теперь прочерченный единственной полоской следов... – следов, у которых пальцы смотрели в разные стороны? Ничего похожего она прежде не испытывала. Но так ли это? Воспоминания проявлялись медленно. Да вот же: они с дядей Лесли в Старом Зеленом Раю играют в шнурки. Точь-в-точь: щекотно и приятно, немного смешно и ни на что не похоже.

Припоминая те мгновения, она засмеялась, но это помешало Майклу, и она преобразовала смех в кашель. Вот так совпадение. Но ведь она всегда знала, что секс – это смешно. И в открытую сказала об этом докторше. Глупой докторше Хедли.

И вот оно, подумалось ей как-то ночью, когда она лежала под Майклом. Вот оно, ее нынешнее житье-бытье. Сочувствия к себе она не испытывала – всего лишь признавала факты. Родилась, выросла, вступила в брак. Люди притворяются – а может, и слепо верят, – что жизнь начинается с замужества. Отнюдь нет. Замужество – это не начало, а конец; иначе с какой стати книги и фильмы то и дело заканчиваются аккуратно перед алтарем? Замужество – это не вопрос, а ответ. Это не предмет для сетований, а всего лишь предмет для наблюдений. Ты вышла замуж, то есть хорошо устроилась.

«Устроить», «устроиться» – важные слова. *Устроиться* на постой. *Устроиться* на работу. *Устроить* свою судьбу. *Устроиться* в жизни. А еще: задолжал – кредитора это *не устраивает*. То же с взрослением: домашние о тебе заботятся и ожидают чего-то от тебя взамен, хотя ни родня, ни дети обычно не говорят, что именно их *не устраивает*. Требовалось оплатить какой-то счет – вот и со свадьбой все *устроилось*.

Это вовсе не значит, что ты будешь жить счастливо до конца своих дней. Вовсе нет. Это просто значит, что ты устроилась в этой жизни. «Ты – еще куда ни шло»: так сказал Майкл, а до него – мама. Ты – куда ни шло. Выдержала некую проверку. Даже если ты несчастна, о тебе будут заботиться. Так повелось, и она бывала тому свидетельницей. Потом, конечно, пойдут дети, а мужчина от этого всегда становится более ответственным. Нельзя сказать, чтобы Майкл был безответственным: он же полицейский, как ни крути. А она его несколько облагородит. Будет дом. Будут дети. Война закончится. Она уже взрослая. А для Майкла она – возможно – маленькая девочка, но это другое. Она взрослая. Это подтвердится рождением детей. Их беспомощность лишний раз докажет, что она взрослая, что устроена в этой жизни.

Наутро, оставшись в одиночестве, она посмотрелась в зеркало. Каштановые волосы утратили детскую золотистость... В голубых глазах – крапинки неопределенного цвета, как в шерсти для вязания. Почти квадратный подбородок, который больше не вызывает у нее досаду. Она попыталась улыбнуться сама себе, но как-то не получилось. Надо думать, она действительно куда ни шло: не ослепительна, не кичлива, однако же куда ни шло.

Из зеркала на нее смотрели шерстяные глаза, и Джин почувствовала, что теперь знает все тайны, все тайны жизни. Был в ее детстве темный, теплый сушильный шкаф, и она вынула

оттуда что-то тяжелое, в коричневой оберточной бумаге. Теперь не было нужды исхитряться – не было нужды отвинчивать крышечку махонького смотрового отверстия, подсвечивая себе фонариком, и заглядывать внутрь. Она теперь взрослая. Могла бы осторожно и сосредоточенно развернуть бумагу. И ведь знала, что увидит: четыре узких клинышка охристого цвета. Подставки под мячи для гольфа. Ну разумеется. Чего еще было ожидать? Только ребенок мог принять их за гиацинты. Только ребенок мог надеяться, что они прорастут. Взрослые знали, что гольфовые «тишки» не прорастают.

2

Три мудреца – вы шутите? Граффити, ок. 1984

Майкл высекал каблуками искры. Таким он запомнился Джин на долгие годы. В чулане для инструментов у него хранилась сапожная колодка – тяжелая железная штукавина о трех лапах, похожая на герб какого-нибудь опереточного государства: на ней он приколачивал стальные подковки к каблукам каждой пары новой обуви. При ходьбе он слегка опережал Джин, поэтому она то и дело ускоряла шаг и волей-неволей совершала неуклюжие перебежки. А он шел чеканной поступью, и ей слышался скользящий скрежет мясницкого ножа на ступеньке лестницы черного хода, а из тротуара высекались искры.

Замужество Джин продлилось двадцать лет. После виноватого разочарования медового месяца наступило более затяжное, более медлительное уныние совместного существования. Возможно, до свадьбы она слишком живо себе представляла, что оно будет точно таким же, как их существование порознь: что продолжится жизнь под высоким воздушным небом и легкими, вольными облаками, жизнь с поцелуями при вечернем расставании, с взволнованными фразами, глупыми играми и невысказанными, но волшебным образом исполненными мечтами. Теперь она обнаружила, что надежды, задуманные для воплощения, надо хоть как-то проговаривать, а игры в одни ворота стали казаться уж слишком глупыми; что же до взволнованных фраз, они столь неотступно и регулярно следовали за поцелуями перед сном, что волнения хватало ненадолго. Майкл, вне всякого сомнения, испытывал те же чувства.

Но более всего озадачивал ее вопрос: насколько прочной может быть совместная жизнь без малейшего ощущения той близости, какую она себе рисовала. Они жили, столовались и спали вместе, обменивались шутками, недоступными посторонним, были осведомлены в отношении друг друга вплоть до нижнего белья; но, судя по всему, из этого складывались лишь повседневные привычки, а не высоко ценимое точное предвидение реакций. Джин воображала (разве нет?), что жимолость обовьется вокруг боярышника, что посаженные бок о бок молодые побеги сплетутся в арку, что две ложки соединят свои контуры и уместятся одна в другую, что двое сольются в единое целое. Глупые мысли, понимала Джин – на уровне детских книжек с картинками. Ей тем не менее удавалось хранить любовь к Майклу, хотя так и не довелось научиться читать его мысли и предугадывать ответные действия. Ложке не прильнуть к ножу, вот и все. Ошибкой было вообразить, что брак способен изменить математику. Один плюс один всегда равно двум.

В браке мужчина меняется – это предрекали женщины со всей округи. Наберись терпения, девочка, говорили они. Так что ее не слишком удивляло постепенное притупление удовольствий и зарождение вялых бестактностей. Куда больше удручало ее то, что доброта и нежность, которые Майкл проявлял в пору своих ухаживаний, теперь сделались для него источником раздражения. Очевидно, его злила мысль о том, что после свадьбы от него ожидают прежних добродетелей, а из самой этой злости проистекала еще большая озлобленность. Послушай и не спорь, всем своим видом говорил он, ты считаешь, что прежде я пускал тебе пыль в глаза. Я тебя не обманывал. Тогда я не злился, а теперь злюсь: как ты смеешь обвинять меня в нечестности? Однако Джин мало трогало, что когда-то он был с ней честен: теперь-то он злобствовал.

Конечно, в этом, скорее всего, была ее вина. И, допускала она, вполне естественно, что ее бездетность вызывает у Майкла вспышки необъяснимого гнева. Необъяснимого не из-за беспричинности (повод-то был), но потому, что ее неспособность зачать оставалась постоянной, тогда как его вспышки ярости всегда прорывались несвоевременно.

Поначалу он хотел направить ее к специалисту. Но она помнила предыдущий эпизод, когда он ее убедил (нет, хитростью заставил) поехать в Лондон. Одной такой специалистки, как доктор Хедли, ей хватило на всю жизнь. Потому она отказалась.

– Мне, вероятно, требуется альпийский воздух, – сказала она.

– Ты, собственно, о чем?

– Альпийский воздух восстанавливает жизненные силы личности, – процитировала она, как общую истину.

– Джин, дорогая. – Он сжал ее запястья, будто собираясь сделать сердечное признание. – Тебе хоть кто-нибудь когда-нибудь говорил, насколько чудовищно ты глупа?

Она отвела глаза; он сжимал ее запястья; понятное дело: чтобы он ее отпустил, ей пришлось бы посмотреть ему в глаза или по крайней мере дать ответ. Что толку ее изводить? Пускай она глупа, хотя у нее были на этот счет некоторые сомнения, но даже если так, неужели это повод для злости? В пору его ухаживаний она была ничуть не умнее, однако он, похоже, тогда ничего не имел против. У нее свело живот.

В конце концов с некоторым вызовом, но избегая смотреть на него в упор, она сказала:

– Ты обещал не возвращать меня по месту приобретения, если во мне обнаружится изъян.

– Что?

– Съездив к доктору Хедли, я спросила, не отошлешь ли ты меня назад, если найдешь во мне изъян. Ты сказал, что нет.

– А при чем тут это?

– Если ты все же считаешь, что я бракованный товар, можешь отослать меня назад.

– Джин. – Он сдал ей запястья еще сильнее, но она отказывалась вглядываться в это мясистое красное лицо на мальчишеской шее. – Господи. Да послушай ты. – В его голосе зазвучало остервенение. – Послушай, я тебя люблю. Господи, люблю, люблю. Просто иногда мне хочется, чтобы ты была... другой.

Другой. Да, ей было понятно такое желание. Она чудовищно глупа и бездетна. А он хочет видеть ее умной и беременной. Вот так, все просто. «Орел – значит, будут детишки. Решка – мы купим кота». Придется им завести кота.

– У меня спазмы, – сказала она.

– Я тебя люблю, – ответил он, почти сорвавшись на крик от ожесточения.

Впервые после пяти лет замужества это признание оставило ее равнодушной. Не то чтобы она ему не поверила, но теперь вопрос выходил далеко за пределы честности.

– У меня спазмы, – повторила она, чувствуя себя малодушной из-за неспособности посмотреть ему в лицо.

Безусловно, его презрение только нарастало из-за ее жалоб на неведомые спазмы.

В конце концов он отпустил ее запястья. Но в течение последующих месяцев не раз возвращался к вопросу о том, что «ей надо пойти к специалисту». Джин соглашалась с этой расплывчатой формулировкой, хотя про себя репетировала фразы, вычитанные ею под храп – за стенкой – Восхода Проссера. «Несоответствие размеров и позиций половых органов», «вагинизм». Застойные явления: она подумала о водопроводчиках, которых вызывают прочищать раковины, и содрогнулась. Бесплодная – вот это правильное слово, библейское. Бесплодная. От бесплодия мысль ее перешла к пустыне Гоби, а дальше как было не вспомнить дядюшку Лесли: «Головку лопаты тащить по земле нельзя, – наставлял он, – не то песка полетит больше, чем ветренным днем в пустыне Гоби». Ей привиделся гольфист в песчаном бункере, который неумело бьет, бьет, бьет клюшкой, а мяч так и не показывается.

Впрочем, иногда она задавалась вопросом: считается ли ее состояние тем самым изъяном, каким его определенно считает Майкл? В пору его ухаживаний она подмечала, как он напрягается при каждом своем упоминании о детях. Ладно, об этом потом, решила она. А затем ее соприкосновение с первой проблемой привнесло и некоторый скептицизм по поводу второй.

Быть может, она не бесплодна, а просто неординарна. Или же и то и другое. Чудовищно глупая, бесплодная и неординарная: вот так она, должно быть, выглядит со стороны. Изнутри все ощущалось по-другому. Можно было сбросить со счетов бесплодие и нестандартность, ведь именно эти признаки заметны со стороны. Что же до чудовищной глупости, она могла признать точку зрения Майкла, но могла и выйти за ее пределы. По мнению Джин, ум не представлял собой такое незамутненное и неизменное свойство, какое видится окружающим. Умная – это примерно как хорошая: рядом с одним человеком ты – сама доброта, а рядом с другим – злодейка. Можно быть умной для одного человека и глупой для другого. Отчасти это определялось уверенностью в себе. Хотя Майкл, как законный муж, провел ее от девственности и юности до женской зрелости и опытности (во всяком случае, так считалось в мире), обеспечил ей физическую и материальную защиту, дал фамилию Кертис взамен Сарджент, но, как ни странно, не смог дать уверенности. В некотором смысле она была куда уверенней в бытность свою восемнадцатилетней дурочкой. В двадцать три года, рядом с Майклом, она уже чувствовала себя не столь уверенной, а оттого и не столь умной. Такой поворот событий граничил с жестокостью: вначале Майкл сделал ее менее умной, а потом сам же осудил за то, какой она стала по его милости.

Не исключено, что и бесплодной сделал ее он сам. Возможно ли такое? Ничего невозможного нет, думалось ей. Поэтому, когда они в очередной раз поспорили о ее неполноценности, она подняла глаза, выдержала его взгляд и быстро, пока не улетучилась отвага, сказала:

- Первенство уступаю тебе.
- В смысле?
- Первенство уступаю тебе.
- Джин, что за ребячество? Повтор ничего не объясняет.
- Возможно, ты сам неполноценный.

Тогда он поднял на нее руку. Причем в первый и единственный раз за всю их совместную жизнь: хорошо еще, что это был не удар, а, скорее, неловкий тычок, который пришелся туда, где плечо переходит в шею; но в то время она этого даже не поняла. Пока она бежала из комнаты, слова обрушивались на нее под разными углами. «Сучка», – услышала она от него впервые в жизни, и «тупица», и «бабенка»: это последнее слово билось и оттачивалось, пока не приобрело острие, которое может полоснуть.

Эти слова неслись ей вслед даже после того, как за ней захлопнулась дверь. Но эта преграда лишила их смысла: два дюйма плотно пригнанного массива превращали неистовое расчленение ее характера в простой шум. Ощущение было такое, будто Майкл швыряется разными предметами, которые при ударе о дверь издают один и тот же звук, будь то тарелка, чернильница, книга, нож или увешанный перьями томагавк, даже не затупившийся от множества предыдущих жертв. Разбираться она не стала.

И была за это благодарна судьбе, когда в течение нескольких дней возвращалась мыслями к этому скандалу, принимала извинения Майкла и отвергала его ласки. Милые бранятся – только тешатся: зачем люди выдумывают такие пословицы, если не для того, чтобы с точностью доказать обратное? Болячки затягиваются – это она знала по себе (те первые спазмы в животе прошли за час), а слова постепенно изъязвляют. «Бабенка», – прокричал ей Майкл, сначала скрутив звук в комок, чтобы метнуть его дальше и прицельнее. «Бабенка»: в самом слове отравы не было, но весь яд содержался в тоне голоса. «Бабенка», три непримечательных слога, которые вобрали в себя новый смысл: «все, что меня бесит».

После этого тема деторождения была закрыта. Годами они продолжали заниматься любовью, обычно раз в месяц или по крайней мере каждый раз, когда у Майкла вроде как возникало желание; но Джин в этом деле проявляла пассивность. Когда она думала о Майкле в плане секса, ей грезился переполняющийся бак, из которого приходится время от времени сливать воду; не сказать, что указанное занятие доставляло ей большие неудобства, – оно про-

сто вошло в обиход. Что же касалось ее самой в плане секса, она предпочитала об этом не задумываться. Иногда притворялась, скорее из вежливости, что испытывает больше удовольствия, чем на самом деле; секс больше не казался ей забавным; она считала его обыденным. А все эти некогда затверженные фразы, глупые, волнующие фразы, которые с ней как бы заигрывали, теперь доносились из очень давних времен – с острова под названием «Детство». Остров этот невозможно покинуть, не вымокнув. Рисуя себе две схемы волн, что сталкиваются под прямым углом, она испытывала некоторую вину. Что же касается тех расхожих формулировок – как на предмет кривой нормального влечения, так и на предмет слабых и неустойчивых подъемов глубинных вод у женщин, страдающих от утомления и значительных нагрузок, – они представлялись ей выцветшими граффити, мельком увиденными на стене деревенской автобусной остановки.

Никакой альпийский воздух ей не требовался; а утомление, от которого она страдала, было не физическим в своей основе. Для Майкла она вела хозяйство и занималась садом; содержала череду домашних питомцев, зная, что в пригороде их считают суррогатом детей. Откармливала кабанчика, который сбежал и был застукан на шоссе за обглаживанием разделительных столбиков с катафотами. Поддерживала связи с тайными животными, которые приходили, не попадаясь ей на глаза. Временами, лежа в кровати, она слышала, как ежик, словно выстукивая благодарность, громыкает крышкой, в которую налито молоко, и улыбалась.

Двадцать лет она исполняла отведенную ей роль в пригородной жизни: пила чай в гостях и дома, оказывала помощь, делала пожертвования и стала, в своем собственном представлении, совершенно анонимной. Не считая себя несчастной, она едва ли была счастлива; пользовалась расположением соседей, но не участвовала в местных интригах и позднее сочла себя довольно заурядной. Майкл – тот определенно считал ее заурядной. Но было кое-что и похуже. В детстве ей иногда представлялось, что она сделается какой-нибудь заметной личностью или, по крайней мере, женой заметного джентльмена, но ведь сходные планы в детстве строят все, разве нет? Дополнительные округлости смягчили ее угловатое лицо. Низкое серое небо с едва различимыми отдельными облаками постоянно угрожало дождем.

Временами, на протяжении многих лет, она задавалась вопросом, нет ли у Майкла любовной связи на стороне. Ни следов губной помады на воротнике сорочки, ни тайком рассматриваемых фотографий, ни поспешно прерванных телефонных разговоров она не выявила, а учитывая профессию Майкла, ничего такого и опасаться не стоило. Единственная улика проявлялась в его взгляде: иногда он смотрел на нее так, будто вглядывался с высоты восемнадцати тысяч футов в дымящийся сухогруз. Вопросов она не задавала, а он не делал признаний. У кого бы повернулся язык рассуждать о двойной жизни?

Родители ее умерли. В возрасте тридцати восьми лет у нее прекратились месячные, что не вызвало ни удивления, ни расстройства: ее существование, чувствовала она, давно прекратило себя определять. Хотелось ли ей иногда завопить среди ночи? А кому не хотелось? Одного взгляда на жизнь других женщин ей было достаточно, чтобы понять: все могло бы сложиться куда более скверно. Заметив у себя первый седой волос, она не стала ничего предпринимать.

Почти через год после прекращения месячных у нее наступила беременность. Она попросила врача продублировать все анализы, прежде чем смирилась с его вердиктом и объяснила причину своего удивления. Врач ответил, что такие случаи единичны, и с расплывчатой вежливостью пробормотал что-то насчет поездов до Лондона. Коротко его поблагодарив, Джин отправилась домой, чтобы поделиться с Майклом.

Она, в сущности, не отдавала себе отчета в том, что испытывает мужа, хотя спустя годы призналась себе, что, видимо, испытывала. Вначале он разозлился, причем как-то по-новому, едва ли не сам на себя; не иначе как хотел бросить ей обвинение в связях на стороне, но передумал: то ли осознал нелепость таких подозрений, то ли устыдился собственных грешков. Потом решительно объявил, что заводить детей им уже поздно и что от ребенка она должна изба-

виться. Потом отметил, что это весьма странный поворот событий после двадцати с лишним лет брака. Потом высказался более пространно, объявив, что вся эта история довольно чудная, и посмеиваясь над тем, как удивятся мужики. Потом у него на лице появилось расслабленное туповатое выражение, и он умолк; не иначе как проигрывал в уме сценки отцовства. Наконец, он повернулся к Джин и спросил, что она сама думает на сей счет.

– Да вот, собираюсь родить и от тебя уйти. – У нее и в мыслях не было делать подобные заявления, но слова, которые вырвались как-то сами собой, инстинктивно, без напускной бравады, ничуть ее не удивили.

Равно как и Майкла: тот просто хохотнул.

– Ишь ты, лапушка моя, – бросил он с забавным акцентом, который Джин в обычных обстоятельствах сочла бы ерничеством; теперь она не знала, что и думать. Майкл явно был в полной прострации.

– Нет, я, наверное, от тебя уйду, а потом буду рожать. В такой последовательности.

И опять собственные слова не смогли ее удивить; теперь, когда она их повторяла, они казались ей не просто неоспоримыми, но почти банальными. Страх тоже не было, хотя она и ожидала, что Майкл вспылит.

Вместо этого он погладил ее по руке, говоря:

– Отложим этот разговор до завтра, – и стал рассказывать об участвовавших кражах одежды в местном универмаге, которые наконец-то были раскрыты: в женской примерочной установили двухстороннее зеркало, а в шкафу, оснащенном тревожной кнопкой, затаился сержант сыскной полиции, который и задержал переодетого женщиной воришку, когда тот засовывал блузы себе в бюстгальтер.

Она хотела сказать: «Послушай, мое решение никоим образом тебя не касается. Я выбираю более трудный путь, вот и все. На самом деле мне хочется перворазрядной жизни. Может, я ее и добьюсь, но единственный доступный мне шанс – это выкарабкаться из жизни второразрядной. Возможно, из этого ничего не выйдет, но я, честное слово, хочу попробовать. Это касается только меня, но не тебя, так что не беспокойся».

Но у нее бы язык не повернулся такое сказать. Всегда нужно соблюдать деликатность, и прежде всего в вопросе о том, есть ли у Майкла отношения на стороне. Никто не отменял определенные правила поведения, необходимость держать себя в руках, укрощать приступы злости, уважать ложь во спасение, вызывать к чувствам собеседника, которые, как оба притворялись, есть в наличии, даже если ты подозреваешь их полное отсутствие. Все это, конечно, входило составной частью в ее понятие второразрядной жизни.

Она понимала, что для Майкла ее уход, скорее всего, станет ударом; но это соображение не вынудило ее остаться, а, напротив, пробудило некоторое презрение к мужу. Гордиться тут было нечем, но и отрицать свою реакцию она не могла. Впервые за все годы их брака она сознательно добилась от него некоторого подчинения. Не исключено, что власть над другим человеком всегда стимулирует пренебрежение; быть может, по этой причине он и считал ее чудовищно глупой. Если так, то оставаться тем более не имело смысла.

Ей хотелось уйти сразу, но она передумала. Для ребенка будет лучше, решила она, если он первые несколько месяцев поспит без лишних оглушительных раскатов предстоящей жизни – уличной жизни; лучше не обрекать его на горести раньше, чем придется. И еще надо было сделать маленький прощальный жест уважения в сторону Майкла. Если исчезнуть сейчас, на раннем сроке беременности, весь пригород будет шушукаться: дескать, сбежала к любовнику, к некоему жиголо из тех, что подвизаются на чайных танцульках, а то и к цирковому силачу. Если же уйти с ребенком или на позднем сроке, никто не будет знать, чему верить. Знакомые, вероятно, сочтут, что она рехнулась. Говорят, такое не редкость – женщины частенько сходят с ума после родов; а в ее возрасте такой риск еще выше.

Соседки ей говорили, что позднее дитя – это дитя богохранимое. Доктор вполголоса предупредил о синдроме Дауна и опять упомянул поезда на Лондон. Майкл не спускал с нее глаз: он разрывался между мальчишеским бахвальством и неопределенными страхами. Страхы эти носились в воздухе, но она не делала ничего, чтобы их развеять; напротив, она их использовала. Зная, что беременным положено вести уединенный образ жизни, что мать и вынашиваемый ею младенец образуют автономную республику и что древние племенные верования учат мужчин держаться в рамках, когда их жены округляются, она преобразила свои страхи в благоговейный трепет, который часто выражался в слезливости.

Так что Джин позволила себе изображать большую погруженность в себя, чем ощущала на самом деле. Она также начала капризничать, поскольку этого от нее, собственно, ожидали. Иногда у нее и вправду возникала склонность к капризам: от насыщенного мучнистого запаха куриного корма ей хотелось поднести ведро к губам и отпить; но она не упоминала эти нормальные странности своего положения. Вместо этого во время долгих прогулок под тусклым серым небом она упражнялась в более широком спектре капризов, умышленно поступая вопреки своим чувствам и нравам. Она обнаружила, что может выражать досаду и скуку при Майкле, хотя прежде скрывала эти эмоции; теперь она давала им выход при каждом удобном случае.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.